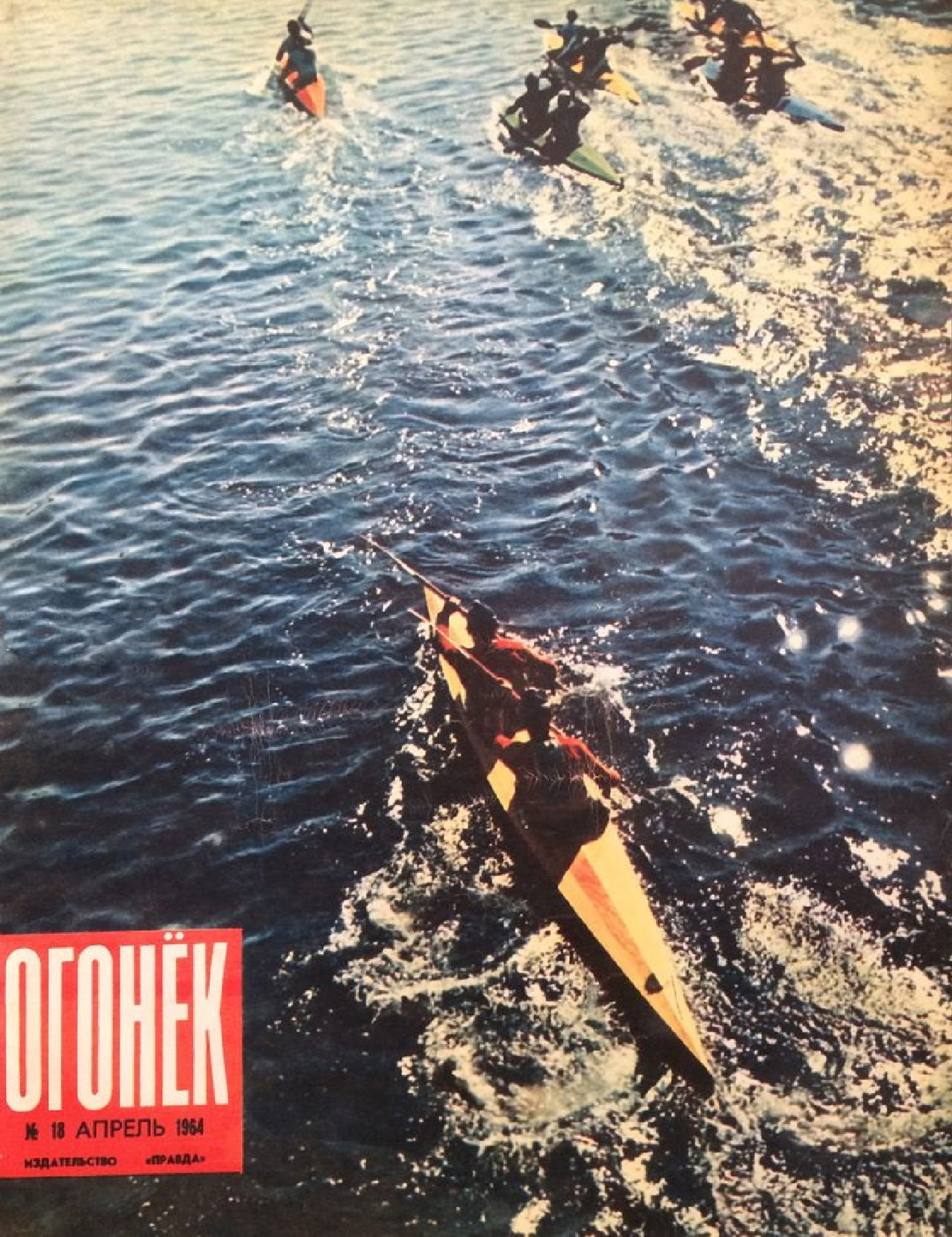

ОГОНЁК
№ 18 АПРЕЛЬ 1964
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



В СТРАНЕ ЧУДЕС.
(Павильон ВДНХ).
Фото В. Анни.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

42-й год издания

№ 18 (1923)

26 АПРЕЛЯ 1964



Москва, Кремль, 17 апреля 1964 года. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев вручает Никите Сергеевичу Хрущеву высшую награду Советского Союза — орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Фото В. Соболева. (ТАСС).

КОМИТЕТ ПО ЛЕНИНСКИМ ПРЕМИЯМ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА ПОСТАНОВИЛ ПРИСУДИТЬ ЛЕНИНСКИЕ ПРЕМИИ 1964 ГОДА ЗА НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА:

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ, ЖУРНАЛИСТИКИ И ПУБЛИЦИСТИКИ

1. **Гончару** Александру Терентьевичу — за роман «Тронка».

2. **Пескову** Василию Михайловичу — за книгу «Шаги по росе».

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

3. **Дейнеке** Александру Александровичу — за комплекс мозаичных работ: «Красногвардеец», «Доярка», «Хорошее утро», «Хоккеисты».

4. **Плисецкой** Майе Михайловне — за исполнение ролей в балетах советского и классического репертуара на сцене Государственного академического Большого театра Союза ССР.

5. **Ростроповичу** Мстиславу Леопольдовичу — за концертно-исполнительскую деятельность (программы 1961—1963 гг.).

6. **Черкасову** Николаю Константиновичу — за исполнение роли Дронова в художественном фильме «Все остается людям».



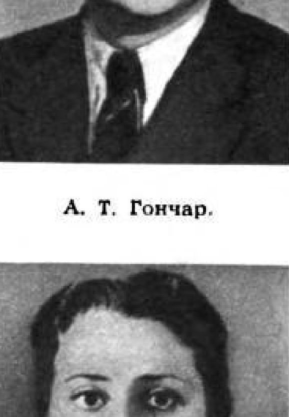
А. Т. Гончар.



В. М. Песков.



А. А. Дейнека.



М. М. Плисецкая.



М. Л. Ростропович.



Н. К. Черкасов.

ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ, МНОГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ ВО ИМЯ ТОРЖЕСТВА КОММУНИЗМА ЖЕЛАЕТ СОВЕТСКИЙ НАРОД ВЕРНОМУ ЛЕНИНЦУ НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ ХРУЩЕВУ В ДЕНЬ СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ

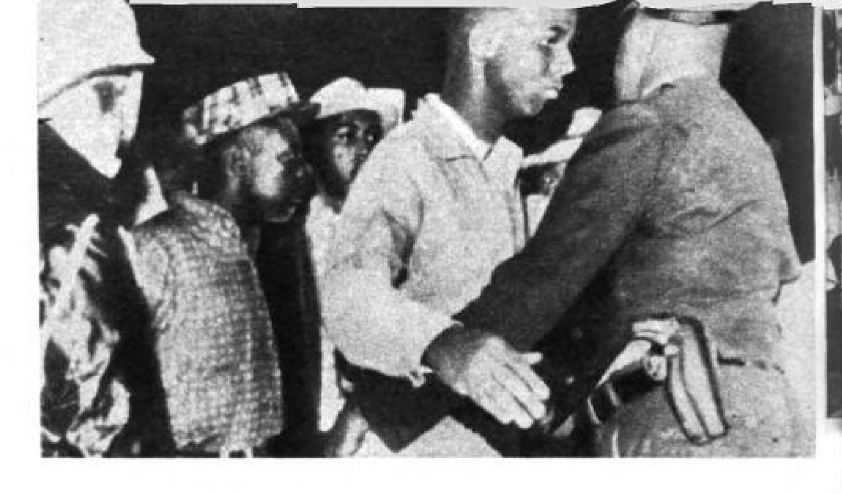
Москва, Кремль, 17 апреля 1964 года. Руководители КПСС и Советского правительства приветствуют Никиту Сергеевича Хрущева.

В день вручения награды. Никита Сергеевич Хрущев среди руководителей Коммунистической партии, Советского правительства и зарубежных гостей.

Фото А. Устинова.

Фотообозрение «Огонька»





↑
Со всех концов земли поступают сообщения о массовых забастовках рабочих, о походах безземельных крестьян, о маршах сторонников мира.

В Нью-Йорке состоялась демонстрация протеста против «грязной войны» в Южном Вьетнаме. Демонстранты прошли мимо призывного пункта с плакатами: «Вывести американские войска из Вьетнама!», «Не хотим умирать за сайгонских фашистов!».

↑
В США не утихает борьба негритянского населения за гражданские права. В Джэксонвилле (штат Флорида) негры пикетировали дома и рестораны, предназначенные только для белых. Против пикетчиков была брошена полиция, арестовавшая 150 человек. **На снимке:** обыск арестованных пикетчиков.



←
В Западной Германии нарастает движение протеста против роста дороговизны. Женщины Мюнхена вышли на центральные улицы с требованием прекратить гонку вооружения и повысить зарплату рабочим.



←
Эти люди из департамента Артигас (Уругвай) прошли пешком более 700 километров, чтобы потребовать от правительства конфискации помещичьих земель и раздела их между безземельными крестьянами. В столице Уругвая Монтевидео состоялся грандиозный митинг солидарности с крестьянством.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ВЕЩЬ—АРИФМЕТИКА

Генрих БОРОВИК, обозреватель «Огонька»

Впервые я ощутил, что такое революционный дух Кубы, при довольно своеобразных обстоятельствах.

Это было в конце 1959 года. Я летел в Гавану. С парижским чиновником на аэродроме Орли мы долго изучали авиационную библию.

— Пожалуй, быстрее всего через Венесуэлу, месье,— сказал чиновник.— Выхóдите в Каракасе и через тридцать часов садитесь на самолет венесуэльской компании — прямо до Гаваны.

— А венесуэльская виза?

— Вы получите ее на аэродроме в Каракасе.— И он показал мне зеленую страницу авиакатехизиса. Большими буквами на ней было напечатано: «Транзитная виза на 48 часов предоставляется пассажирам на аэродроме в Каракасе беспрепятственно».

В Каракасе чиновники долго рассматривали мой паспорт, жестикулировали, убегали, прибегали, снова жестикулировали, и, наконец, один из них, нежно дыхнув на печать, поставил полагавшуюся мне визу.

Как раз в тот момент, когда я, стоя в ванной комнате приморского отеля, принялся выбривать вторую щеку, в мой номер, запертый на ключ, вошли два дюжих парня в штатском с классически оттопыренными задними карманами брюк и приказали мне следовать за ними.

Кое-как одевшись, с недобритой щекой, я сел с ними в машину и через каких-нибудь пятнадцать минут был доставлен на аэродром.

— Вы не имеете права находиться на территории Венесуэлы,— мрачно сказал мне полицейский чин.

— У меня виза! — протестовал я.

— Вам дали ее по ошибке.

Я сослался на авиационный справочник.

Мне принесли его и показали ту самую зеленую страницу, где под большими словами о дозволенных сорока восьми часах помещались не замеченные мною и французским чиновником микроскопические буквочки, которые складывались в зловещие маленькие слова: «Сие не распространяется на пассажиров — граждан СССР и стран Восточной Европы».

Одним словом, меня арестовали. В здании аэровокзала, видимо, не было специально приспособленной кутузки, и меня просто отгородили в одном из залов от остального мира высокими столами и приставили часового.

Чемоданы мои отбывали заключение в отдельном помещении. Я попросил разрешения взять в чемодане электробритву. Отказ. Попросил не ломать замки от чемоданов, а воспользоваться ключами, которые я готов был предоставить. В ответ излишне эмоциональные возгласы: «За кого вы нас принимаете!»

Когда оттопыренные карманы ушли, мой загончик сразу окружила толпа аэровокзальных чиновников, транзитных пассажиров, носильщиков. Они знали одно: советский журналист впервые летит на Кубу. И в течение двух или трех часов, пока продолжалось мое заключение, я был свидетелем интереснейшего разговора о Кубе. Он состоял из спора, восторженных восклицаний, бурного столкновения и единодушного слияния мнений. Я узнал, что такое Куба для Латинской Америки, я понял, насколько кубинская революция больше этого маленького острова. Впервые я видел горящие глаза латиноамериканской революционной солидарности.

Несколько часов такой коллективной лекции дали мне больше, чем все статьи и книги о кубинской революции, прочитанные перед поездкой. Мысленно я благодарил оттопыренные карманы за эту прекрасную идею — арестовать меня.

В конце концов кто-то, видимо, подсказал местной полиции, что если русский коммунист едет на Кубу и остановился в Венесуэле, то глупо держать его взаперти на аэровокзале. Гораздо полезнее пустить его в город и следить за ним. Бесспорная мудрость такого трезвого подхода к жизни со стороны венесуэльской полиции вернула мне оба чемодана с поломанными замками, возможность добрить щеку и посмотреть Каракас. Окончание детективной истории не имеет отношения к делу, поэтому я его опускаю.

То время было трудным для Кубы. Некоторые думали — самым трудным, потому что никто еще не знал тогда о Плайя-Хирон, об осени шестьдесят второго года, об экономической блокаде.

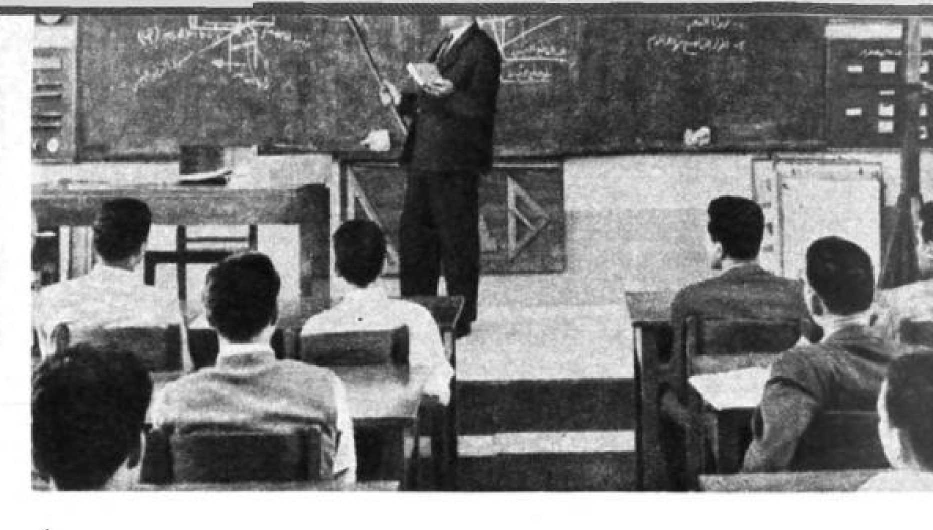
Североамериканский сосед полагал тогда, что с Кубой можно будет расправиться в два счета. В крайнем случае на счете три: раз — отказ покупать сахар; два — отказ поставлять нефть; три — свержение существующего правительства при помощи компактного вторжения. Для доказательства сравнивали территории Кубы и Штатов, население, численность армий, экономическую мощь и калибр пушек. Арифметика, безусловно, была на стороне бизнесменов. От четырех недель до четырех месяцев жизни отводили новой Кубе наиболее осторожные пророки.

С тех пор прошло четыре года. И пять лет прошло. С лишним.

Любовь к арифметике осталась у американских журналов и газет. Но теперь подсчитывают другое. Вот схема, появившаяся в «Ньюсуик» от 30 марта этого года. Она называется «Счет очков по беспокойному континенту». Все как полагается. Слева — страны. Сверху — признаки беспокойства: «крестьянские волнения; мощное

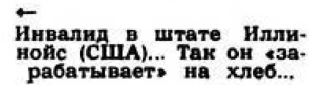


↑ Президент Занзибара Абейд Амани Каруме (третий слева) пригласил дипломатов ряда стран возделать поле. Дипломаты показали замечательный пример мирного труда.



↑ Идут занятия по технологии токарного дела. Один из 20 учебных центров, построенных в ОАР с помощью Советского Союза.





← Инвалид в штате Иллинойс (США)... Так он «зарабатывает» на хлеб...



→ Солдаты ООН на Кипре. На одном плече автомат, на другом клюшка для гольфа... Правительство Кипра решило выделить на содержание войск ООН 100 тысяч фунтов стерлингов.



← Военная полиция Англии отрабатывает «боевые» приемы для разгона демонстраций и блокирования партизан.

Фото ТАСС, АПН и ЮПИ.

рабочее движение; угроза военного переворота; угроза прихода к власти левых сил; активный национализм; высокая безработица; развивающаяся инфляция». В нужных местах стоят точки. Чем больше точек, тем опаснее страна с точки зрения американских монополий. Больше всего точек оказалось у Бразилии.

В том же номере журнала сообщается, кстати, что Соединенные Штаты теперь не будут автоматически порывать отношения с военными хунтами, которые захватят в стране власть силой. Делайте, мол, выводы. Выводы сделали буквально на следующий день: как выражаются некоторые политические деятели, «элегантный военный переворот в рамках бразильского конституционализма» с арестами коммунистов, сенаторов, прогрессивных деятелей и тех, кто требовал социальных реформ.



Кто виноват в точках?

Кто виноват во всех этих неприятных точках на схеме? Ну, конечно, Куба! Кто виноват в силе коммунистических идей на беспокойном континенте? Куба!

Мы не возражали бы против таких утверждений журнала, если бы имелась в виду громадная притягательная сила кубинского примера для народов Латинской Америки. Но американские журналы имеют в виду совершенно другое.

Американский еженедельник «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» поместил совсем недавно статью под паническим заголовком: «Куба Фиделя Кастро — эта проблема для Соединенных Штатов превращается в угрозу всему миру» (!!!). И подзаголовок: «Ныне известна наконец во всех деталях удивительная история превращения Кубы в центр мировой революции. Обученные на Кубе партизаны разлетаются по всему свету поднимать волнения. Они представляют собой реальную силу от Панамы до Занзибара. Союзники Соединенных Штатов, спешащие завести торговлю с Кубой, должны понять, что крупнейшая статья экспорта Фиделя Кастро — неприятности».

Я выписал названия всех стран, в которых, по мнению американского журнала, активно действуют «секретные агенты Кубы». Краткая характеристика этих действий тоже сделана на основе утверждений журнала.

З а н з и б а р — недавняя революция — дело рук Кубы. П а н а м а — последнее восстание инспирировано кубинцами, кроме того, ожидаются новые неприятности. В е н е с у э л а — агенты Кубы подняли революционные волнения. В связи с приходом к власти относительно неопытного президента волнения могут усилиться. Г о н д у р а с — 30 января 1964 года раскрыт заговор против существующих порядков, организованный агентами Кубы. А л ж и р — военные действия на границе с Марокко вдохновлялись агентами Кубы. К е н и я, Ю ж н а я Р о д е з и я, Г в и н е я, М а л и, Г а н а — во всем, что происходит здесь враждебного по отношению к «свободному миру», так или иначе замешана Куба. А н г о л а и М о з а м б и к — благодаря кубинским агентам ожидаются новые революционные выступления против португальских колонизаторов. Ю ж н о-А ф р и к а н с к а я Р е с п у б л и к а — сюда, возможно, будут посланы Кубой специальные люди с задачей провоцировать беспорядки. Б р а з и л и я, П е р у, Ч и л и, А р г е н т и н а, У р у г в а й, Б о л и в и я — каждые несколько месяцев Куба присылает в эти страны через Бразилию секретный самолет с секретными агентами. К о л у м б и я — «традиционный колумбийский бандитизм (цитирую журнал.— Г. Б.) превращен кубинскими агентами в дисциплинированную организацию по устройству беспорядков». Б р и т а н с к а я Г в и а н а — премьера здешнего правительства, коммуниста, поддерживает большая группа агентов Кубы.

Ну как? По-моему, здорово! В двух десятках больших и малых стран темпераментные кубинцы устраивают беспорядки, сеют смуту, строят козни империалистам.

Неизвестно только, когда кубинцы успевают все это проделывать. Ведь их только семь миллионов, включая грудных младенцев. Вероятнее всего, по ночам. С наступлением сумерек разлетаются на самолетах во все концы земного шара, устраивают революции, а на рассвете возвращаются. На ночь оставляют на острове только сторожа с колотушкой. На всякий случай. И все.

Удивительная вещь — арифметика! Когда цифры против империалистов, империалисты проигрывают. Когда — за империалистов, они тоже проигрывают. В чем же дело?

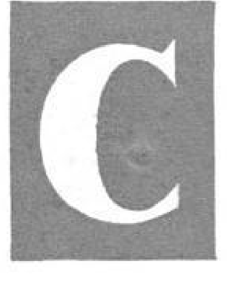


Бразильские студенты вывесили портрет Фиделя Кастро. Надпись по-английски: «Мы любим Фиделя Кастро».



26 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ





С днем рождения, СЭВ!

Москва, Петровка, 14... Этот адрес хорошо известен в госпланах, министерствах и научно-исследовательских институтах социалистических стран. Здесь штаб СЭВ, его секретариат.

Совет Экономической Взаимопомощи родился 26 апреля 1949 года, в канун Первомая. Создание его было продиктовано самой жизнью. Мировая социалистическая система разрасталась, крепла и настоятельно требовала новых, более тесных форм сотрудничества.

Деятельность СЭВ очень многогранна. Более двадцати его постоянных комиссий находится в восьми столицах — от Берлина до Улан-Батора. Нет такой отрасли промышленности и науки, которыми не занимались бы комиссии.

Х. ЯНБУХТИН

О стандартизации

Аккредитованные в Москве корреспонденты: Франц Краль — от «Нейес Дейчланд», Ежи Редлих — от «Жице Варшавы», Индра Сук — от чехословацкого телеграфного агентства, Шандор Пирики — от венгерского — и автор этих строк побывали в Международном институте стандартизации, созданном недавно на средства СЭВ. Нас встретил директор института Николай Иванович Евстюшин.

Заведующий отделом постоянной комиссии СЭВ по стандартизации Курт Грегор рассказывает:

— Чем скорее мы проведем стандартизацию, тем больше выгоды получат наши страны. Сейчас мы стремимся унифицировать не только шайбы, гайки, болты, шестеренки, но и целые узлы, что позволит сделать их взаимозаменяемыми. Одновременно вырабатываются единые обозначения на чертежах.

Все лучшее, что есть у каждой страны и в мировой практике, будет использовано.

Мы — одни из самых старых...

Так начал заведующий отделом машиностроения чех Ян Франц. Он познакомил нас со своими сотрудниками: советским профессором Н. А. Орловым, венгром Энеи Шандором, румыном Георге Олтеану.

— К сожалению, пока нет на месте руководителя группы тяжелого машиностроения,— сказал наш собеседник.— Эта должность за польским специалистом. Но мы уже знаем кандидатуру — это директор краковского тракторного завода Лятонь Людвик.

Мы познакомились с Ласло Меслени из Венгрии и Иоахимом Фрунцке из ГДР. Один из них окончил Ленинградский политехнический, другой — Московский станкоинструментальный институт. Оба эксперты по металлообрабатывающим и деревообделочным станкам, полиграфическому, текстильному и пищевому машиностроению, инструментам...

— Целый универмаг,— заключает шутливо Ласло.— По роду службы приходится следить за прогрессом всех этих отраслей не только в масштабе социалистического лагеря, но и в мировом. Читаем зарубежные технические журналы, стараемся не пропустить ни одной выставки. Однако даже обширных знаний порой бывает недостаточно. Тогда отдел созывает на консультации экспертов — крупнейших специалистов и ученых наших стран.

— Мы провели работу по специализации свыше семи десятков видов машиностроительной продукции,— рассказывает Ян Франц.

Он достает размноженные типографским способом и разосланные в страны СЭВ документы. В них сказано, какая страна на чем специализируется, указаны сроки. Например, крупногабаритные карусельные станки будет выпускать Советский Союз, такие же станки меньшего диаметра — СССР и Чехословакия, остальные — Польша и ГДР.

Сократится номенклатура выпускаемых ныне машин, зато производство отобранных типов намного возрастет.

Тракторы-малютки для виноградников и электротележки будет делать Болгария, тракторы с тяговым усилием в 1,4 тонны — ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, СССР, самоходные комбайны — СССР.

— Специализация, — резюмирует Ян Франц,— дает возможность выпускать продукцию в крупных сериях, а это — главное условие для автоматизации, снижения себестоимости.

Большие заботы большой химии

Летом 1963 года в необычное путешествие отправились шестнадцать человек. Среди них были представители семи наций. Из Румынии группа поехала в СССР, затем в Польшу, ГДР, Чехословакию, Венгрию, Болгарию.

Участников этой поездки мало интересовали достопримечательности. Больше всего их занимал разговор о карбиде кальция. Дело в том, что группа состояла из специалистов-химиков стран СЭВ. Поездку организовала Постоянная комиссия СЭВ по химии.

Собрав все ценное, что довелось увидеть, бригада выработала рекомендации, в которых нашел воплощение девиз: «Лучшее от каждой социалистической страны — всем социалистическим странам!»

За четыре года состоялось семь таких бригадных поездок по темам, представляющим всеобщий интерес: производство аммиака, целлюлозы, капролактама...

Сейчас Постоянная комиссия по химии готовит еще две бригадные поездки. Маршрут первой, которую организуют чешские товарищи, пройдет по предприятиям, вырабатывающим термопласты; второй — по заводам синтетического каучука. Ее готовит ГДР.

Другой яркий пример сотрудничества — совместные братские стройки. Кто сейчас не знает нефтепровод «Дружба», по которому черное золото Поволжья поступает на химические заводы Венгрии и Польши, Чехословакии и ГДР! Или целлюлозный комбинат в устье Дуная — Браила, который вместе с Румынией сооружали ГДР, Польша и Чехословакия! С помощью Чехословакии Польша расширяет серные рудники, а ГДР — производство калийных удобрений. Болгария вместе с ГДР выстроила предприятие, которое будет делать целлюлозу из соломы. Польша участвует в разработке калийных солей в Белоруссии и в строительстве газопровода Станислав — Пулавы.

Недавно я побывал на Кингисеппском комбинате фосфоритных удобрений, выросшем среди вековых лесов Ленинградской области.

Год назад шесть стран — Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, ЧССР и Советский Союз — подписали Соглашение о совместном кредитовании строительства этого предприятия большой химии.

Пять стран-участниц оплатят расходы Советского Союза по строительству комбината, а с января будущего года Советский Союз начнет поставлять партнерам фосфоритную муку.

Кингисепп — небольшой пока городок, названный именем замечательного эстонского коммуниста-революционера,— стал маяком дружбы, городом, где на общее благо наших народов перерабатывается камень плодородия.

Четырнадцать проблем — и все под номером один!

— Когда наши страны дали свои планы исследований,— рассказывает лауреат Государственной премии Николай Андреевич Богородицкий, в чьем ведении вопросы научно-технического сотрудничества,— собралось около

ста тем. Мы отобрали четырнадцать проблем, действительно крупных и важных, я бы сказал, каждая из них — это проблема номер один: химизация народного хозяйства; применение пластмасс; создание новых синтетических и биологических материалов и веществ, нужных медицине и сельскому хозяйству; новые методы борьбы с загрязнением воды и воздуха и другие. Далее, все проблемы разбили на пятьдесят тем, а их, в свою очередь,— на семьсот заданий. И это еще не все. Задания прописали по конкретным научно-исследовательским институтам социалистических стран.

На проспекте имени Калинина в Москве растет комплекс зданий СЭВ в тридцать этажей. Он будет выстроен из стекла и бетона в самом современном стиле.

Здание строится на средства СЭВ, но по каким ценам вести расчеты — советским, польским, румынским, болгарским? Вот еще одна проблема, которая изучается в валютно-финансовом отделе,— ведь совместных строек много. Кстати, создание Международного банка намного упростило и ускорило систему расчетов.

Скоро из стран поступят народнохозяйственные планы на 1966—1970 годы и начнется увязка. Потребности социалистического лагеря, торговля с капиталистическим миром, отношения с развивающимися странами — все будет учтено. Йожеф Ружичка, заместитель секретаря СЭВ, отметил, что за 1955—1962 годы внешнеторговый оборот стран — членов СЭВ с молодыми независимыми странами Азии, Африки и Латинской Америки вырос почти в три раза.

Так состоялось наше знакомство с СЭВ. Мы увидели большую и дружную семью — представителей разных народов, людей разных возрастов, профессий и вкусов, но единых в одном — в большой преданности своей работе. Эти люди незамедлительно приходят на помощь друг другу. Они вместе отдыхают, бывают на прогулках, в театрах и на стадионах, вместе отмечают национальные праздники. Но у всей многонациональной семьи секретариата СЭВ есть два больших общих праздника — Октябрь и Первомай. А нынешний Первомай, совпадающий с 15-й годовщиной рождения Совета Экономической Взаимопомощи, будет праздником вдвойне.

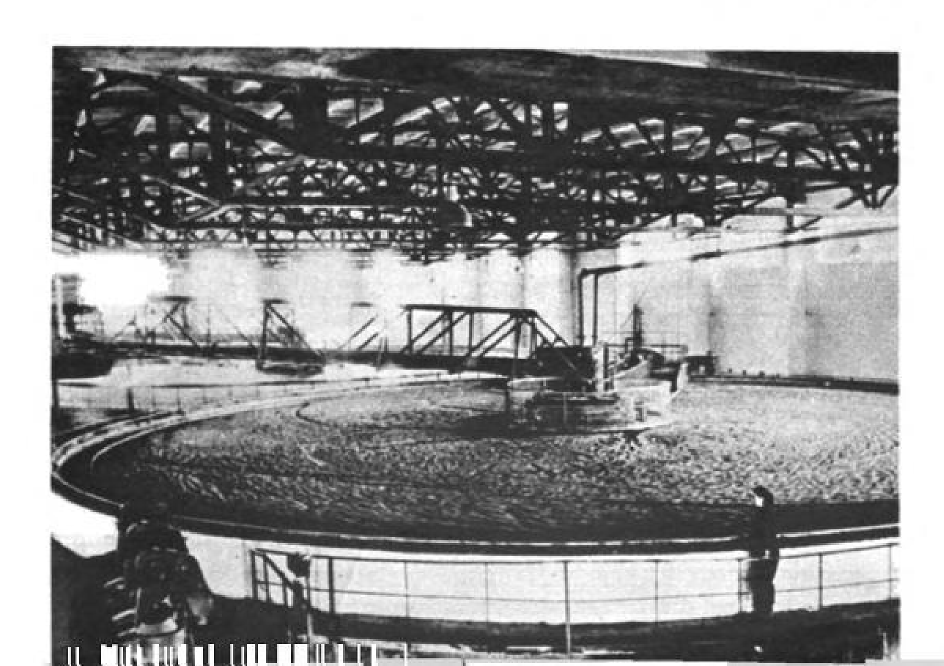


В отделе машиностроения Иоахим Фрунцке (на снимке слева) представляет ГДР, Ласло Месленн — Венгрию, Ян Франц — Чехословакию.

Фото А. Бочинина.

Кингисеппский комбинат «Фосфорит». Недавно вступила в строй первая очередь этого предприятия, которое сооружается в Советском Союзе на средства братских стран.

Фото М. Редькина (ТАСС).



ВТОРАЯ ТЫСЯЧА

— Пошли!..

Два человека, надвинув на глаза защитные очки, почти одновременно ринулись вниз. Быстро отдалялись белоснежные облака, а навстречу стремительно приближалась земля. Люди в свободном падении, широко раскинув руки, парили в воздухе. Ловко маневрируя, они постепенно сближались и вот уже взялись за руки. Крепкое рукопожатие. Обмен эстафетными палочками и дружеское объятие в воздухе.

Так среди синевы воздушного океана мастер спорта Сергей Киселев поздравил своего молодого товарища Игоря Трухина с тысячным парашютным прыжком.

...20 секунд свободного падения. Вспыхнули купола парашютов, и друзья плавно опустились на широкую площадку. Здесь их ждали. Товарищи по аэроклубу горячо поздравили юбиляра и его учителя Киселева, у которого Игорь многие годы перенимал опыт, мужество, мастерство.

Девять лет назад, когда Игорю Трухину исполнилось семнадцать лет, он совершил свой первый прыжок. С тех пор влюбился в небо, в парашютный спорт. Почти полторы тысячи километров налетал Игорь под куполом парашюта. Теперь студент Уральского политехнического института Игорь Трухин — мастер спорта, автор шести всесоюзных и трех мировых рекордов на точность приземления. Он один из самых активных инструкторов-общественников, давший путевку в воздух более восьмиста спортсменам.

А. ГРИГОРЬЕВ

Фото В. Ветлугина.

●

После выступления «Огонька»

«Сердце телевизора»

Так назывался отчет о заседании Общественного телевизионного совета, опубликованный в «Огоньке» (см. № 7 за 1964 год). На этом заседании обсуждались вопросы, связанные с выпуском новых кинескопов к унифицированным телевизорам «УНТ-47» («Огонек») и «УНТ-59». Резкой критике был подвергнут Научно-исследовательский институт пластмасс, гарантировавший качество защитной пленки кинескопов при неработающем телевизоре.

Очень долго не отвечал институт на критику. Наконец на специальный запрос пришел ответ:

«...Опыта в эксплуатации такой пленки раньше не было, поэтому во временные технические условия были включены ограничения. В настоящее время имеются данные опытной проверки. Установлено, что предложенная Институтом пластмасс пленка обладает высокими свойствами и работает в течение 2 000 часов без видимых изменений, что превышает гарантийный срок службы самих кинескопов.

Институтом предложена технологическая схема, позволяющая быстро освоить выпуск пленки на Охтинском химкомбинате. Однако осуществление задерживается из-за отсутствия промышленного выпуска стеарата кадмия нужного качества.

Заместитель директора по научной части М. С. Акутин.
Начальник лаборатории № 11 Г. В. Струминский».

Редакция связалась по телефону с Львовским телевизорным заводом. Да, действительно, сборка опытной партии телевизоров срывается. «Нет кинескопов,— сообщил нам главный инженер завода В. П. Бугай.— Кинескопы, собственно, есть, но они стоят на Львовском электроламповом заводе раздетыми. Нет защитных пленок. Ленинградцы подводят — не прислали пленку. Помогите, шефы, нам!..»

А ленинградцы, как выяснилось из институтского письма, не имеют стеарата кадмия — необходимой добавки, без которой нельзя получить пленку. На совещании ОТС как раз об этой добавке шла речь. Представитель Госкомитета по химии горячо заверял всех тогда, что стеарат кадмия будет.

Преждевременными были эти уверения!

Вот еще одно письмо, поступившее в редакцию. «Ставим вас в известность, что стеарат кадмия выпускал киевский завод РИАП треста «Союзреактив» Госхимкомитета. Изготовление прекратили ввиду отсутствия потребителей. Завод поставлял стеарат кадмия Калининскому комбинату ИСКОЖ для синтетических пленок. РИАП сможет изготовить необходимое количество стеарата кадмия при поступлении заказа.

Главный инженер киевского завода РИАП Е. Ф. Блащук».

Не может ли помочь телевизоростроителям завод РИАП? Что скажет на это Госкомитет по химии?

●

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ДОРОГОЙ «ОГОНЕК»!

За мой маленький рассказец мне присудили премию: «Огонек» на целый год! Это подарок, которому нет цены. Журнал, милый вестник Родины, позволил нам увидеть нашу страну во всей ее красоте. Тысячами огней, как бриллиантами, засверкали ГЭС. Золотистой мантией спеющей пшеницы покрылись поля. Заводы и фабрики задымили своими трубами в глухих лесах Сибири. Полетели корабли в космос, прославив науку и технику советских людей.

Стала Россия самой красивой и передовой страной в мире! Обо всем этом ты рассказал нам, «Огонек». А теперь у меня большая просьба к тебе:

Скажи нашей Родине, что любим мы ее всегда, что ее радости — наши радости, ее печали — наши печали. Скажи, что во время народного гнева мы растерялись и не поняли происходящего, потому вихрь революции выбросил нас за пределы родной земли, но, и далеко живя, мы всегда оставались преданными ей. Хоть и блудные, но все же сыны.

Еще раз большое спасибо.

Крепко жму руку издателям.

Ирина АРХИПЧУК,
Бразилия





В. К. Коккинаки у карты перелета Москва — США.

ФИНИШ — за океаном

В. МИЛАНОВ

Тридцатые годы. Бурно развивается советская авиация. В считанные годы наши самолеты превзошли лучшие зарубежные машины. Воздушная экспедиция на Северный полюс, перелеты Чкалова и Громова в Америку, беспосадочные полеты Осипенко и Коккинаки на Дальний Восток.

Наступил 1939 год. Герой Советского Союза комбриг Владимир Константинович Коккинаки заканчивает подготовку к перелету в Америку кратчайшим путем — через Атлантический океан. Решено лететь на серийном самолете «Москва» по прямой линии. Из 7 520 километров пути больше четырех тысяч придется пройти над водой.

Мысль соединить два континента воздушным путем давно влекла лучших летчиков мира. Но если несколько перелетов отважных авиаторов из Америки в Европу удались, то попытки пересечь Атлантику в обратном направлении, как правило, кончались неудачами, а то и трагедиями.

От Америки к Европе постоянно дуют сильные ветры, самолет медленнее продвигается вперед, время полета увеличивается почти на треть суток, не хватает горючего.

И все же Коккинаки считает, что воздушный путь из Москвы в Америку через Атлантический океан, несмотря ни на что, наиболее удобен для постоянного межконтинентального сообщения. Вдоль маршрута можно разместить промежуточные базы как для перевозки пассажиров и грузов, так и на случай вынужденной посадки. Маршрут через Северный полюс, проложенный Чкаловым и Громовым, гораздо сложнее. В Арктике трудно оборудовать постоянно действующие аэродромы, трудно следить за погодой. Длина полярного маршрута на 3,5 тысячи километров больше, чем трасса через Атлантический океан. Кроме того, несколько месяцев в году там царит полярная ночь, часты магнитные бури. Путь через Дальний Восток, проложенный Леваневским, еще длиннее.

Подготовкой к перелету «Москвы» руководит конструктор самолета С. В. Ильюшин, при участии В. К. Коккинаки. На случай вынужденной посадки на воду самолет снабжают резиновой шлюпкой.

Немало хлопот доставило размещение горючего. Самолет рассчитан на дальность полета в четыре тысячи километров, а лететь нужно больше семи. Да еще положено принять двадцатипроцентный запас. Но куда? Залили его так много, что, как выразился Коккинаки, «из ушей потекло». И все-таки в баки вошло горючего только на восемь тысяч километров.

Для оказания помощи в случае аварии самолета над океаном в Атлантику направили теплоход «Кооперация», вдоль маршрута расставили четыре подводные лодки Северного флота.

Подошел долгожданный день старта. Когда погрузили все необходимое, обшивка фюзеляжа между рядами заклепок вспучилась и стала похожа на стеганое одеяло. Казалось, машина не только не взлетит, но даже не сможет сдвинуться с места.

В назначенный день — 26 апреля — вылет не состоялся. Как позднее сообщило ТАСС, «...ввиду неблагоприятной обстановки и наличия магнитной бури...»

В ожидании прошел день, другой. Наконец 28 апреля синоптики сказали: «Можно лететь!»

Из-под колес выбиты тормозные колодки. Взревев моторами, машина сорвалась с места и двинулась. Содрогаясь всем корпусом, самолет все быстрее бежит по бетонной дорожке. Мчится триста, пятьсот, восемьсот, тысячу метров... Целый километр! Навстречу неудержимо летит конец полосы. На мгновение провожающим кажется: не взлетит! Но уже в следующую секунду летчик берет на себя колонку управления, машина тяжело отрывается. 4 часа 19 минут...

Первая неприятность появилась после того, как «Москва» прошла Хельсинки. Коккинаки решил перевести управление на автопилот. Хотелось передохнуть и записать показания приборов, но автомат не работал. Пришлось снова взяться за штурвал.

Беспокоит и еще одно: те самые встречные ветры, они заметно съедают скорость.

Началась Атлантика. До Исландии — 1 300 километров чистой воды. Над океаном погода резко ухудшилась. Облака закрыли воду. Началась жестокая болтанка. Внезапно в разрыве облаков под черным фронтом туч мелькнули острова. Фареры! Неужели ветер значительно сильнее и самолет почти на 160 километров уклонился к югу? Еще и еще раз проверили скорость — все нормально. После обмена посланиями (из-за гула моторов пилоту и штурману приходилось писать записки) решили идти прежним курсом.

Через девять часов вдали показалась Исландия. Над Рейкьявиком облачность. Лишь изредка в разрывах туч мелькают угрюмые северные ландшафты. Позади половина пути.

К южной оконечности Гренландии — мысу Фарвель — самолет снова летит над океаном. Погода еще хуже. На пути мощный циклон. Коккинаки решает обойти его с севера. Но и там погода не лучше. Пришлось подниматься до высоты семь километров. А тут еще настойчивее стала мешать фашистская радиостанция, хотя волны, избранные для связи с «Москвой», никогда и никем не использовались.

19 часов 27 минут. Позади мыс Фарвель. Уже четырнадцать часов летчики не снимают кислородные маски. Хорошо, что они приспособлены для питья и еды. Длительный полет на высоте шесть-семь километров вместо запланированных пяти потребовал слишком большого расхода кислорода. Начали экономить. Коккинаки сначала уменьшил подачу, потом перешел на голодный паек. Еще неизвестно, что ждет впереди.

От мыса Фарвель самолет снова пошел над океаном. Ветер переменился и стал попутно-боковым. Но погода и здесь решила хоть чем-нибудь насолить. Налетели снежные шквалы; «Москва», подгоняемая попутным ветром, вслепую помчалась вперед. Скорость почти удвоилась и достигла пятисот километров в час.

...В разрывах облаков промелькнул берег полуострова Лабрадор. Погода приготовила новую неожиданность. Мощный циклон преградил путь. Свирепый ветер дул навстречу, бросал самолет из стороны в сторону. Пришлось пробивать густую облачность, забираясь все выше и выше.

Семь, восемь, девять тысяч метров. В кабине самолета разреженный леденящий воздух. Резко увеличился расход кислорода, температура упала до минус 48 градусов. Усталость сковала движения. Но оторваться от колонки управления нельзя: автопилот не работает. Гул моторов стискивает мозг, от вибрации стучат зубы.

Неожиданно штурман указывает другой курс.

— Почему? — спрашивает пилот.— Неужели отклонился?

— Радиокомпас показывает неправильно: идем на сигналы вмерзшего во льды Арктики судна,— сообщает Гордиенко.

Что за чертовщина? Что с штурманом? Видно, не выдержал человек, началось кислородное голодание, а может, нервы сдали. Сейчас для пилота главное — во что бы то ни стало удержать правильный курс. А штурман по-прежнему указывает направление в океан...

Самолет уже четыре часа на девятикилометровой высоте. Окончательно истощился запас кислорода. Надвигается ночь. И все же Коккинаки не оставляет надежда пробиться к Нью-Йорку. Облачность доходит чуть ли не до самой земли, точное местоположение самолета неизвестно.

А в это время официальные власти США сообщили, что аэродромы закрыты, посадка самолета в тумане невозможна. Пришлось повернуть назад.

Когда наконец снизились и пробили облака, под самолетом оказалось покрытое льдом море. В тумане виднелись очертания неизвестного островка. Заход за заходом делал над ним Коккинаки. Почти тридцать минут кружил самолет. Куда садиться: на землю или на лед? Ведь при малейшей неровности самолет споткнется.

Решили садиться с убранным шасси, на живот. 29 апреля в 3 часа 13 минут в эфир пошла последняя радиограмма, сообщавшая о вынужденной посадке.

Минуло несколько часов. В штабе перелета никаких известий. А в редакциях, на телеграфе не умолкают тревожные звонки телефонистов. Как прошла посадка? Живы ли? Радиостанции Америки и Канады настороженно ловят каждый сигнал. Правительство США передало указание о розысках самолета.

Тревожно тянутся часы. Только утром в Москву стали поступать непроверенные сведения: какой-то самолет во тьме ночи сделал посадку на остров в заливе святого Лаврентия, вдали от населенных пунктов.

Утром на остров Мискоу вылетели канадские самолеты, но ни один из иностранных пилотов не рискнул приземлиться рядом с «Москвой». Они считали посадку невозможной. Вызвали самолеты-амфибии, те приводнились на море и подошли к берегу.

Америка восторженно встретила героев.

...Минуло четверть века. Недавно мне довелось встретиться с прославленным летчиком, дважды Героем Советского Союза, генерал-лейтенантом Владимиром Константиновичем Коккинаки. Смотрю на него и удивляюсь: он так же молод, как и два десятилетия назад. По-прежнему он летчик-испытатель. Совсем недавно он завершил испытания пассажирского самолета-гиганта «ИЛ-62». В этом году летчику исполнится шестьдесят лет. Из них тридцать семь он отдал авиации.

— Много было за эти годы,— говорит Владимир Константинович.— Попадал я в разные переделки, но и сейчас скажу: перелет в Америку — самый серьезный мой полет. И, пожалуй, самый трудный.

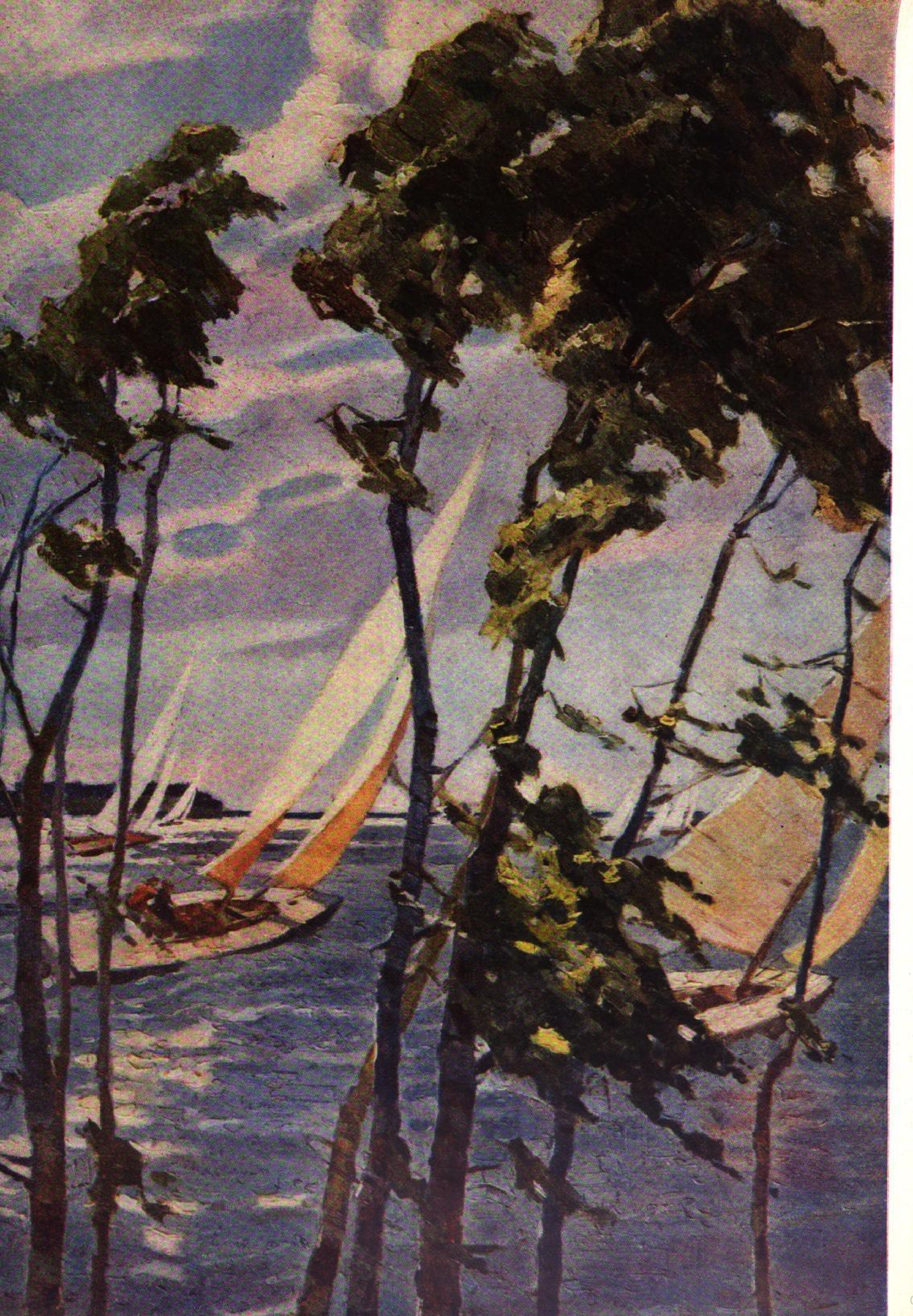
Подвигу исполнилось четверть века. В надписях на фотографиях, подаренных Владимиру Константиновичу космонавтами, звучит признательность учеников своему учителю, готовившему путь к звездам, хотя тогда была у него более скромная задача.

23 мая 1939 года. Москва встречает В. К. Коккинаки и М. Х. Гордиенко.



Г. Метелев. ВЕСНА.

Л. Бродская. УТРО.



С. Клементьева. НА КЛЯЗЬМИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ.

Анатолий КАЛИНИН

Романтик из Гремячего Лога

На этот раз не перемежаемая оттепелями, не вероломная, не изменчивая, как та же Лушка Нагульнова, а с густыми метелями и с крутыми морозами снизошла на донские просторы зима. За одну только ночь и задонские скирды, и придонские сады, и озимые поля укрыл снег. И вот уже хуторские ребятишки вышли на прибрежный лед.

...И опять — и не в первый раз — вдруг так явственно может представиться взору, как в один из таких же дней и по такому же сверкающей белизны снегу въезжал на райисполкомовских санях в хутор Гремячий Лог двадцатипятитысячник Семен Давыдов.

Чем дальше отодвигается от нас в прошлое героическая и драматическая эпоха коллективизации, тем все больше приближаются, выступают, ревниво отбираемые нашей памятью из суммы фактов и явлений того времени, и отчетливо обрисовываются, как на фоне заревого неба, наиболее существенные черты этой эпохи. Со все большей выразительностью выявляются и образы активных участников тех событий, в том числе и образы, запечатленные художественным гением в лучших произведениях литературы и искусства. Центральное место среди них занимает «Поднятая целина» М. Шолохова.

Еще почти совсем ничего и не известно нам о приехавшем в Гремячий Лог двадцатипятитысячнике Давыдове, за исключением самых скупых деталей и подробностей: якорек на руке, слесарь с Путиловского завода,— но от этих-то деталей и подробностей сразу же и повеяло на нас чем-то необъяснимо волнующим, как до этого повеяло предчувствием весны от гремяченских вишневых садов, согретых дыханием первой январской оттепели. И вскоре мы начинаем убеждаться, что первое чувство нас не обманывает: так и есть, этот человек из племени романтиков. Не откуда-нибудь, а из самого центра революции и не куда-нибудь, а в глухой казачий хутор приехал он «насчет колхоза». Да ты знаешь ли, милый человек, куда тебя занесло, и не приходилось ли тебе до этого слышать такие слова: «Донская Вандея»?!

И вдруг в этом самом Гремячем Логу слышим мы хрипловатый от волнения голос, обращенный к Давыдову: «Это—дюже верная мысля: всех собрать в колхоз. Это будет прелесть, а не жизня»,— и видим устремленный на него горящий взгляд. Вот тебе и на — еще один романтик. Да еще и какой! И где только, где... Не каким-нибудь ветром занесенный сюда издалека, а, что называется, свой, природный. Романтик из Гремячего Лога.

Одно дело, если человек приехал из Питера, из самого центра романтичнейшей из революций на земле, и приехал с того самого Путиловского завода, чье имя всегда произносилось рядом с именами — Ленин и Смольный. Откуда же, если не оттуда, и пошли романтики революции и распространились по всей разбуженной октябрьским колоколом стране! Но здесь, где не далее как десять лет назад бушевало пламя белоказачьего мятежа, дотла испепелявшее души таких казаков, как Григорий Мелехов?!

А то, что Макар Нагульнов все из того же племени романтиков, потом уже не вызывает сомнений. Его и реалист Шолохов представляет читателю в романтических красках. Уже в первое мгновение знакомства с Макаром Нагульновым его будущий задушевный друг Семен Давыдов видит, как «на защитной рубахе его червонел орден Красного Знамени». Не как-нибудь иначе он выглядел на груди у Нагульнова, а *червонел*, так же как в «Тихом Доне» *кровянел* бант на груди у въезжающего в Новороссийск первого красного всадника, которого увидел Григорий Мелехов. Очень просто, что этим всадником мог быть и Макар Нагульнов. И этому так созвучны краски, какими автор «Поднятой целины» продолжает писать портрет секретаря гремяченской партячейки, вглядываясь в него глазами Давыдова: «Был он широк в груди и по-кавалерийски клещеног. Над желтоватыми глазами его с непомерно большими, как смолой налитыми, зрачками срослись разлатые черные брови. Он был бы красив той неброской, но запоминающейся мужественной красотой, если бы не слишком хищный вырез ноздрей небольшого ястребиного носа, не мутная наволочь в глазах».

Запомним и, быть может, потом поймем, откуда она и как могла набежать эта *наволочь* на облик Макара. У Шолохова нет случайных деталей.

В каждом, даже в исполненном самых высоких достоинств произведении литературы есть высоты, как бы господствующие над всеми другими. В «Поднятой целине» на таких высотах каждый раз рядом с путиловским слесарем Давыдовым оказывается гремяченский казак Нагульнов. И каждый раз оказывается, что это и есть в романе Шолохова те самые кульминации, где гуще всего клубятся тучи страстей, ярче всего блистает прорезывающая их молния авторской идеи, и озаряемые ею фигуры героев обозначаются на этих гребнях, как резцом гравера. Там, на этих высотах, мужает талант автора, горит его сердце, льются его слезы. Там его пурпурные знамена и дорогие ему могилы. И только там он может позволить себе целомудренное признание: «Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову...»

Присутствуя при первой встрече Давыдова с Нагульновым в Гремячем Логу, читатель присутствует и при зарождении их дружбы, которую они потом пронесут до самой смерти. Это была по-мужски суровая, мужественная и нежная дружба. И неоспоримо то влияние, которое оказывает на Макара Нагульнова его друг Семен Давыдов. Пожалуй, ни с кем Нагульнов не считается так, как с Давыдовым. Тем выше для Макара авторитет Давыдова, что заработан он не красным словцом и не позой. Всмотримся в дружбу этих романтиков. Говорят, дружба должна пройти испытание временем. Но каким временем... Дружба Давыдова с Нагульновым зарождалась в столь насыщенное революционными событиями время, что и счет ему надо бы вести не по дням и месяцам, а по ударам взволнованного этими событиями сердца. И неверно измерять длительность их дружбы лишь со дня приезда Давыдова в Гремячий Лог. Да, здесь они встретились впервые, но узами товарищества по партии они были уже соединены, еще ничего и не зная друг о друге. Вот почему и не понадобилось им проходить через тот период взаимного узнавания, который обычно предшествует дружбе. Для Нагульнова довольно было услышать из уст Давыдова слово «колхоз», а для Давыдова достаточно было увидеть, как весь воспламенился при этом слове, подался навстречу ему Нагульнов. Только так в то время и мог завязаться узелок их дружбы. Завязаться сразу и навсегда. И впоследствии вспышкой смерти она озарится с той завершающей яркостью, при которой читатель, может быть, впервые увидит и постигнет ее во всей красоте и силе. Не постигнув этого, нельзя постигнуть и всех глубин романа Шолохова — так много вобрала в себя эта дружба

Из книги «Вешенское лето», выходящей в издательстве «Советский писатель».

Давыдова и Нагульнова. Потому что это была не только их личная дружба.

Неоспоримо влияние Давыдова на Нагульнова, но влияние обоюдно. И здесь можно напомнить, что приехавший в Гремячий Лог на распашку единоличных межей Давыдов приезжает туда не на готовое, но и не на голое место. До того, как ему туда приехать, Макар Нагульнов уже исходил все эти межи и не раз и не два примерился, с какого края приступать к целине. Приехав в хутор, Давыдов сразу увидел, что по силе убежденности и вообще по силе характера у Нагульнова нет здесь равных. Продолжая знакомить с ним читателя, Шолохов сразу же и обозначает его характер точными, резкими мазками. Все в чертах Нагульнова выпукло, выражено, заострено. Его характер будет развиваться, но в нем и теперь уже все определенно. Давыдову предстоит убедиться, что нет здесь равного Макару и по знанию обстановки и классовое чутье у него поострее, чем у того же Андрея Разметнова. При встрече с Давыдовым председатель гремяченского сельсовета Андрей Разметнов с откровенным восхищением характеризует ему Якова Лукича Островнова: «Вон — голова! Пшеницу новую из Краснодара выписывал, мелонопусой породы — в любой суховей выстаивает, снег постоянно задерживает на пашнях, урожай у него всегда лучше. Скотину развел породную. Хоть он трошки и кряхтит, как мы его налогом придавим, а хозяин хороший, похвальный лист имеет».

Нагульнов слушает эти простосердечные словоизлияния Разметнова и качает головой:

«—Он, как дикий гусак середь свойских, все как-то на отшибе держится, на отдальке».

И не так-то просто разубедить Макара. Не закроет ему глаза Островнов похвальным листом «культурного хозяина». Не по этому Макар привык судить о человеке, а по суровому листу классового счета: во имя личного счастья и обогащения живет человек или во имя всеобщего счастья? Если Разметнов сразу же готов и влюбиться в похвальный лист Островнова, то Нагульнов прежде должен ответить себе на вопрос: а для чего понадобился Якову Лукичу этот похвальный лист и что за ним скрывается? Макар подходит к людям с классовой мерой, хотя иногда и излишне жесткой оказывается в его руках эта мера. Из большой меры она может превратиться в его руках и в куцую мерку — и тогда Макар впадает в крайности. В причудливом сочетании живут в нем черты и качества беззаветной революционности с чертами и качествами мелкобуржуазной стихийности. А бурное время подбрасывает в этот костер горючий материал. Кровь в жилах у Макара пламенеет, и его глаза, как дымом, затягиваются мутной наволочью. Тот огонь, который привлекает к нему сердца людей, разгораясь, начинает обжигать даже наиболее близких ему, таких, как Давыдов.

Не забудем, что Макар Нагульнов продолжает оставаться сыном своей среды, казаком. И казаком из тех, кто в особых условиях Дона сразу же связал свою судьбу с революцией, с Советской властью. Из «Тихого Дона» мы уже узнали, что такие были на Донщине: тот же Подтелков, тот же Кошевой,— и по «Тихому Дону» мы знаем, что было их не столь уж много. И это при всех вольнолюбивых традициях и устремлениях трудового казачества, извращенных с помощью чудовищного исторического обмана красновыми и калediными, о чем повествует и трагедия Григория Мелехова. Позже туман обмана развеялся, но в нем уже заблудились, сгибли многие люди.

Тем крупнее выделялись на этом фоне те личности из казаков, что наперекор среде сумели прорваться сквозь туман. И тем большей стойкостью характеров должны были обладать эти люди. Если о Давыдове автор пишет, что он «прочного литья», то о Нагульнове можно бы сказать, что у него характер строгого чекана. Ничего расплывчатого. Только такого чекана люди на Дону и пробивались тогда сквозь толщу вражды и обмана. Не отсюда ли и столь свойственная Макару непримиримость?

Такие выковывались только в борьбе. И для Макара Нагульнова борьба уже навсегда останется родной стихией. А на Дону эта стихия классовой борьбы была особенно жестокой, и чеканный характер Макара все время подвергался новой закалке. Металл не успевал остывать.

Не случайно и наибеднейшая, наиболее жаждущая перемен в своей жизни часть гремяченцев так тянется к Макару. Хоть и побаивается режущих граней его характера — как бы ненароком не напороться,— но и глубочайше уважает. Знают люди и неподкупность Макара и то, что в случае чрезвычайных обстоятельств у него не дрогнут ни сердце, ни рука. Неподкупность революционной совести — едва ли не главная из черт Макара. Сердце его все целиком «в мировой революции», до которой он так хочет дожить, и поэтому так «поспешает» к ней, чтобы увидеть ее торжество своими глазами. Она-то и является для него самой большой любушкой, а жена Лушка — это уже та вторая любушка, что не должна мешать первой. Романтичнейший тип коммуниста двадцатых — тридцатых годов! Взор Шолохова выхватил его из армии тех самых строителей колхозов, с которых к 1930 году ветер времени еще не успел сдуть пороховую горечь гражданской войны. Теперь война с ее задачами осталась у них позади, а впереди у них совсем другие, новые задачи, но состояние отмобилизованности уже останется у них на всю жизнь. Они привыкли жить по звуку походной трубы.

Для Макара Нагульнова эта труба звучит особенно громко. Он к ее музыке особенно восприимчив. Ему и в предрассветном перекличке гремяченских петухов может почудиться призывный клич этой трубы. Сердце Макара так и встрепенется: «Да это же прямо как на параде, как на смотру дивизии...» Ему эта музыка и во сне может почудиться, как в тот самый вечер, когда, обессиленный после столкновения с Банником, он так и уснул за столом в сельсовете. «Отливающие серебром трубы оркестра вдруг совсем близко от Макара заиграли «Интернационал», и Макар почувствовал, как обычно наяву, щемящее волнение, горячую спазму в горле...» И при этом видит он во сне не кого-нибудь, а своих боевых товарищей — то «зарубленного врангелевцами» дружка Митьку Лобача, то «убитого польской пулей под Бродами» своего бывшего вестового Тюлима. Так, оказывается, они живы! И, пробуждаясь от сна, тем больше начинает ненавидеть Макар тех, кто повинен в их смерти. Всех этих половцевых и островновых. Его ненависть к ним, как и его любовь к товарищам, безгранична. Тем нетерпеливее он в своей жажде поскорее напиться из того светлого источника, который является конечной целью похода. Для этого только нужно ускорить шаг. Все громче звучат в ушах Макара трубы. И все, что противодействует этому движению, прочь с дороги, прочь! Однако «...грохочущий чокот конских копыт был почему-то гулок и осадист, словно эскадроны шли по разостланным листам железа». В этот час, заглушая звуки ликующей музыки, и застигнет Макара гром над его головой.

До этого у Шолохова было сказано: «20 марта утром кольцевик привез в Гремячий Лог запоздавшие по случаю половодья газеты со статьей Сталина «Головокружение от успехов».

Иногда прямо, а иногда косвенно в литературной критике роль Макара Нагульнова в романе «Поднятая целина» сводится едва ли не к роли одного из тех «леваков», которые якобы и несут главную ответственность за перегибы, допущенные при коллективизации деревни. Нагульнов загибает и перегибает, а Давыдов выправляет его и направляет. И все оно, оказывается, так просто.

Конечно, проще всего и объявить виновниками перегибов таких, как Нагульнов, коммунистов, как в свое время это и было сделано в статье И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Но все было сложнее.

Вот как в «Поднятой целине» один из казаков объясняет на нелегальном собрании в хуторе Войсковом белому есаулу Половцеву, почему теперь казаки отказываются восставать против Советской власти: «Ну, мы раньше, конечно, думали, что это из центру такой приказ идет, масло из нас выжимать; так и кумекали, что из ЦК коммунистов эта пропаганда пущенная, гутарили промеж себя, что, мол, «без ветру и ветряк не будет крыльями махать». Через это решили восставать и вступили в ваш «союз». Понятно вам? А зараз получается так, что Сталин этих местных коммунистов, какие народ силком загоняли в колхоз и церква без спросу закрывали, кроет почем зря, с должностев смещает».

И хоть этот казачок «с куцыми золотистыми усами и расплюснутым носом» теперь искренне верит, что он раньше ошибался в своих выводах о том, откуда дует «ветер»,— нет, он не ошибался. Ветер, надувающий паруса перегибов, до этого приходил из тех же самых стен, откуда теперь пришла в донские степи и статья «Головокружение от успехов». Тот, кто был в те дни в деревне, помнит и о том, какое тогда двойственное впечатление произвела эта статья на массу сельских коммунистов — организаторов колхозов. Смешанное впечатление удовлетворения тем, что наконец-то осуждаются жесткие методы при организации колхозов, перегибы, и недоумения, что вина за эти перегибы целиком возлагается на них, непосредственных организаторов колхозов. Как преданные своей партии сыны, они не отказывались принять на свои плечи и свою долю вины. Тем коммунисты всегда были и сильны, что умели взглянуть в лицо своим ошибкам. И как солдаты партии, они сочли своим долгом немедленно приступить к ликвидации перегибов. Но внутренне они, а в их числе и Макар Нагульнов, не могли смириться с тем, что в статье «Головокружение от успехов» умалчивалось о действительной природе перегибов. Получалось, что «ветряк» замахал крыльями совсем без всякого ветра. Недоумевает и Нагульнов, возражая Давыдову на собрании гремяченской партячейки: «Говоришь, в глаз мне эта статья попала? Нет, не в глаз, а в самое сердце. И наскрозь, навылет! И голова моя закружилась не тогда, когда мы колхоз создавали, а вот сейчас, после этой статьи».

Вот оно, начало трагедии этого романтика из Гремячего Лога. Вот когда и читателю «Поднятой целины» впервые западет мысль, что Макар Нагульнов в романе у Шолохова — характер трагедийный. И потом уже от этой мысли не отказаться, она будет крепнуть. От этого в представлении у читателя личность Нагульнова не станет менее героической, напротив. Только героической личности и дано, пройдя через трагедию несправедливого отлучения от партии, сохранить верность партии и веру в справедливость ее идеалов. «...Меня эта статья Сталина, как пуля, пронизала навылет, и во мне закипела горючая кровь». Не может Макар смириться и с тем, что от таких, как он, коммунистов — организаторов колхозов, теперь отворачиваются, и не кто-нибудь иной, а сам «дорогой наш Осип Виссарионович», оставляя их как единственно ответственных за перегибы наедине со своей совестью и лицом к лицу с празднующими свое торжество врагами. «Макар достал из кармана полушубка «Правду», развернул ее, медленно стал читать:— «Кому нужны эти искривления, это чиновничье декретирование колхозного движения, эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов! К чему они могут привести, эти искривления... К усилению наших врагов и к развенчанию идей колхозного движения. Не ясно ли, что авторы этих искривлений, мнящие себя «левыми», на самом деле льют воду на мельницу правого оппортунизма?»

Казалось бы, что можно и возразить против этих слов, все это правда. Перегибам могли радоваться только Половцев и другие враги колхозного строя. Не об этом ли пишет и Сталин? Но за этой правдой Макар Нагульнов чувствует и неправду, кровно затрагивающую его и тысячи таких, как он, коммунистов. Не отрицая своей вины, он готов понести наказание и за то, что «влево загибал с курями и с прочей живностью», и за то, что «наганом по столу постукивал», убеждая казаков записываться в колхоз. И позже, перед заседанием бюро райкома партии, готовый мужественно понести заслуженное наказание, Макар горестно размышляет: «Строгий выговор мне влепят, снимут с секретарей». За свои личные ошибки он готов ответить сполна. Но за то, в чем виноват не он, отвечать он не может, не согласен. Этого ему не позволяет его партийная совесть. Ни

перед самим собой, ни перед своей «родимой» партией Макар Нагульнов никогда еще не лгал. И с величайшим недоумением, с горькой тоской размышляет он вслух на собрании партячейки о том, что не может принять на свои плечи чью-то чужую, а не им заслуженную вину. За то, в чем виноват, наказывайте его, но не от него же, Макара, завертелась эта мельница перегибов. Между тем по статье «Головокружение от успехов» так и получалось. «Вот и выходит, что я перво-наперво — декретный чиновник и автор, что я развенчал колхозников и что я воды налил на правых оппортунистов, пустил в ход ихнюю мельницу».

И, быть может, больше всего сражен Макар не тем, что ему самому придется отвечать за ошибки, а тем, что Сталин теперь, поворачиваясь спиной к таким, как он, Нагульнов, коммунистам, ставит их на одну доску с действительными врагами. «Какая это есть статья? А это статья такая, что товарищ наш Сталин написал, а я, то есть Макар Нагульнов, брык! — и лежу в грязе ниц лицом, столченный, сбитый с ног долой». Подобной несправедливости Макар не мог себе и представить. Как будто тот же «Осип Виссарионович» не знает, что если Макар Нагульнов где и перегнул, то это не по какой-нибудь иной причине, не ради личной выгоды, а все потому же, что поспешал он к мировой революции. И с тем же Троцким он ни за что не согласится в одной упряжке ходить. «От Троцкого я отпихиваюсь! Мне с ним зараз зазорно на одной уровне стоять! Я не изменник и наперед вас упреждаю: кто меня троцкистом назовет — побью морду».

Еще никогда Макар Нагульнов своей партии не лгал. Не может солгать и теперь. И чем бы это Макару ни угрожало, но если Сталин отворачивается в своей статье от таких, как Макар, преданнейших сынов партии, отдает их на растерзание врагам, значит, «статья неправильная».

И здесь в труднейшем положении оказывается Давыдов. Подвергнется испытанию и их дружба. Уж кто-кто, а Давыдов знает, что Нагульнов «к партии... не ученым хрящиком прирастал, а сердцем и своей пролитой за партию кровью». А в статье Сталина и Троцкий и такие, как Макар Нагульнов, оказались в одной строке, и по логике вещей Давыдов, выступая против перегибов, должен вступить в поединок с Макаром. Теперь не время для дискуссий о том, кто виноват в первую очередь, а кто во вторую, теперь каждый коммунист должен внести свой вклад в дело борьбы с перегибами, чтобы обезопасить от них колхозное движение раз и навсегда. А Макар уперся на своем — и ни с места. Тут уже не до дружеских отношений. В голосе у Давыдова появляется металл:

«— Письмо Сталина, товарищ Нагульнов,— это — линия ЦК. Ты что же, не согласен с письмом?

— Нет.

— А ошибки свои признаешь?

...— Признаю.

— Так в чем же дело?

— Статья неправильная».

Макар-то вкладывает в эти слова свой смысл, для него статья неправильна прежде всего своим неправильным отношением к таким коммунистам, как он, которых теперь хотят отлучить от партии. Недоумение, обида и горечь сквозят в каждом слове Макара. А Давыдов, подстегиваемый непримиримостью Макара, тоже накаляется и уже начинает вслушиваться только в прямой смысл его слов, забывая о том, что стоит за его словами. Теперь уже не до личных трагедий, и логика идейной борьбы не знает друзей. Вскоре дойдет и до того, что теряющий терпение Давыдов скажет Макару: «Партию ты по-своему не свернешь, она не таким, как ты, рога обламывала и заставляла подчиняться».

Давыдов прежде всего солдат партии, а перегибы в колхозном движении, по его твердому убеждению, уже причинили делу партии огромный вред. Ему и раньше чужды были крайности Макара. Но по собственному опыту зная, что в этой чреватой всякими неожиданностями обстановке начинали кружиться и не такие головы («...заодно и наши головы малость закружились»), Давыдов и против того, чтобы впадать теперь в другую крайность: учинять расправу над Макаром Нагульновым и подобными ему организаторами колхозов. И даже оставаясь под впечатлением статьи Сталина «Головокружение от успехов», Давыдов по сути своих поступков против тех жестких методов по отношению к коммунистам — организаторам колхозов, против новых перегибов, на которые настраивала статья. Первые страсти поостыли, и вот уже не поддавшийся им Давыдов отказывается от первоначального решения наказать Макара: «Нет, не надо! Сам поймет. Пусть-ка он без нажима осознает. Путаник, но ведь страшно свой же...»

Давыдов явно против того, чтобы открывать огонь по своим. Сегодня начни расправляться с такими, как Макар, а завтра... В то время ни Давыдов, ни кто-нибудь другой не предполагали, во что все это может вылиться «завтра».

Подлинная дружба, как и любовь, бескомпромиссна, а споры Давыдова и Нагульнова на собрании гремяченской партячейки — это споры друзей, неразрывно связанных общностью интересов и целей.

На чьей же стороне автор? На стороне ли Давыдова, чья убежденность в недопустимости перегибов при организации колхозов не вызывает сомнений? Или на стороне Нагульнова, чья преданность партии тоже несомненна, хотя и допускал он перегибы?

Шолохов на стороне правды. И как бы ни были близки его сердцу оба героя — и Давыдов и Нагульнов,— его главным героем остается правда. Она сводится к тому, что во имя непорочности и торжества идей коллективизации надо немедленно устранить перегибы и впредь только по методу убеждения, а не по методу принуждения вовлекать трудовое крестьянство в колхозы. И она же, правда, состоит в том, что партия, даже когда она вынуждена наказывать таких своих сынов, как Макар Нагульнов, за ошибки, не может расправляться с ними, бросать их на произвол судьбы и обращаться с ними, как с врагами. И еще о многом заставляют думать эти страницы романа Шолохова о коллективизации на Дону — и не только на Дону. О том, какое это было трудное, сложное и неповторимое время. И о том, что, оценивая события того времени, нельзя судить о них, как судить и о действиях участников этих событий, не учитывая исторической обстановки, социальных и иных условий. Нагульновы первыми прокладывали борозду, поднимая единоличную целину. У них были чистые сердца, но их предшествующий опыт сводился преимущественно к тому, чтобы покрепче держать шашку в руке, побыстрее скакать на боевом коне. И если, спешившись, при наличии только такого опыта, они все же сумели взломать эту крестьянскую целину, то это могли сделать только герои. После того как они спешились, им подчас все еще продолжало казаться, что они на боевом коне, а раз это так, то, значит, нужно и скакать, гнать врага, чтобы поскорее успеть к «мировой революции». В том-то и величие их подвига, что, не задерживаясь, они переходили от революционных ратных дел к мирным, но ничуть не менее революционным делам. И кто же еще мог бы с таким правом сказать о себе словами поэта: «Мы диалектику учили не по Гегелю...»? А пока мечтающий о революции «во всемирном масштабе» Макар Нагульнов спешит овладеть английским языком по ночам, при свете керосиновой лампы. Единственным «соучастником» его является совсем уж малограмотный горемычный дед Щукарь, в глазах которого Макар Нагульнов не меньше чем профессор. Но и тусклый свет керосиновой лампы, озаряющий грозно-вдохновенное лицо Макара, хочет погасить пулей из своей кулацкой винтовки рыскающий вокруг его дома Тимофей Рваный. А на другом краю хутора, в доме у Островнова, в нетерпеливом ожидании сигнала к контрреволюционному восстанию белый есаул Половцев с белым поручиком Лятьевским любовно пестуют вороненые части пулемета, собирая его и нацеливая — тоже в сердце Макара. Может быть, оттого так и томится его сердце. И не о том ли, что смерть его уже близка, и поют Макару на рассвете гремяченские петухи, которых он слушает в компании с дедом Щукарем?..

А до победы мировой революции еще так далеко, и, чтобы приблизить ее, нужно спешить, спешить... И как в чудесную музыку вслушивается размечтавшийся о ней Макар Нагульнов в предрассветный хор гремяченских петухов.

В этот-то миг и прогремит, предшествуя рокоту половцевского пулемета, выстрел Тимофея Рваного. Лампа, озаряющая вдохновенное лицо Макара, погаснет. И снова мутная наволочь надвинется на глаза Макара, рука его потянется к нагану.

Есть в «Поднятой целине» те хребты и вершины, с которых с особенной видимостью открывается взору прошлое, настоящее, а быть может, и будущее героев романа. На этих вершинах с наибольшей силой проявляется и отношение автора к своим героям, его лирическое чувство.

Такова глава романа, рассказывающая о заседании бюро райкома, на котором Макара Нагульнова исключают из партии за перегибы. Его, Макара Нагульнова, который является самим олицетворением партии в Гремячем Логу, ее хуторским генсеком. Его, который спит и во сне видит свою мировую революцию, ради чего по ночам, когда все объято безмолвием, и врубается он в гранитную толщу английского языка, так же как врубался до этого своей шашкой в толщу врагов на польском и на других фронтах гражданской войны. Его, Нагульнова, которого так ненавидят и боятся половцевы, островновы и другие кровавые враги Советской власти, знающие и безошибочно чувствующие, что над ними уже нависла его карающая рука и что рано или поздно им от нее не уйти.

Так как же это так, что и матерый, хотя еще и не распознанный враг Островнов и секретарь райкома Корчжинский — оба хотят одного и того же — смерти Макара?! Да, смерти, потому что исключение из партии равнозначно для него смерти. «Такие вы партии не нужны. Клади сюда партбилет»,— говорит Корчжинский. Тот самый Корчжинский, который не далее как в январе рекомендовал Давыдову, едущему на коллективизацию в Гремячий Лог, не обострять отношений с кулаком. И тот Корчжинский, который, конечно, не только одному Давыдову давал директиву: «Так вот, гони вверх до ста процент коллективизации. По проценту и будем расценивать твою работу»,— создавая в районе обстановку, благоприятствующую перегибам, спешил «сверстать сводку», а теперь хочет отыграться на Макаре, чтобы и на этот раз щегольнуть перед крайкомом «сводкой» о борьбе с перегибами.

Всего дважды в романе появляется Корчжинский — не так-то много уделено ему внимания и места,— и вот он, скульптурно вылепленный образ руководящего карьериста тех времен, одного из тех, что потом так развернулись в период массовых беззаконий. Не Макары Нагульновы, эти беззаветные рыцари партии, не стяжавшие себе никаких благ и карьер, а эти чиновные верстальщики сводок во имя сводок уже и на самой ранней, так сказать, заре культа личности трепещущими ноздрями ловили струю этого «культа».

Корчжинскому все равно, что заверстать в сводку, и Макар Нагульнов для него — всего лишь очередная единица в графе. Вычеркнул единицу — и пошли дальше. И язык-то какой: «Давайте голоснем. Кто за то, чтобы Нагульнова из партии исключить?» Не слова, а как будто костяшки сталкиваются на конторских счетах. Щелкнуло — и нет человека. Автор романа и тут афористичен, вкладывая в уста Корчжинского именно те, по-своему единственные и неповторимые слова, по которым еще и сегодня тоскует сердце бюрократа и карьериста: «Мы должны в назидание другим наказать его...», «Полумерами в отношении Нагульнова и таких, как он, ограничиваться нельзя...», «Нечего об этом дискутировать...», «Я здесь секретарь райкома».

Щелкнули костяшки — и нет больше Нагульнова в партии. А для Макара Нагульнова похоронной музыкой звучат эти костяшки. Как пронзенный молнией, стоит он, прижимая к груди левую руку. Его трагедия достигает своей вершины, и, освещаемый отблесками поразившей его молнии, Макар стоит на этой вер-

шине, отчетливо видимый, как никогда, со всем его прошлым и настоящим. И только в будущем у него, кажется, уже ничего нет.

Видите, как дрожит стакан с водой, «вызванивая о зубы Макара». И видите, как тянется его рука к горлу, «закостеневшему в колючей суши». «Куда же я без партии? И зачем? Нет, партбилет я не отдам!»— говорит он Корчжинскому. «...Мне жизня теперь без надобностев, исключите и из нее. Стало быть, брехал Серко — нужен был... старый стал — с базу долой...»

«Лицо Макара было неподвижно, как гипсовая маска, одни лишь губы вздрагивали и шевелились, но при последних словах из остановившихся глаз, впервые за всю взрослую жизнь, ручьями хлынули слезы. Они текли, обильно омывая щеки, задерживаясь в жесткой поросли давно не бритой бороды, черными крапинами узоря рубаху на груди».

Не в каком-нибудь переносном, а в самом подлинном смысле для Макара Нагульнова жизни без партии нет, не может быть. Весь окружающий мир для него, исключенного в райкоме из партии, сразу же потускнел, как некогда потускнело само солнце для Григория Мелехова, похоронившего Аксинью. Возвращаясь с заседания бюро райкома и не доехав до Гремячего Лога, Макар пускает коня пастись, а сам лежит у подножия могильного кургана и «равнодушно, словно о ком-то постороннем», думает о себе, «рассматривая в упор спутанные ковыльные нити»: «Приеду домой, попрощаюсь с Андреем и с Давыдовым, надену шинель, в какой пришел с польского фронта, и застрелюсь. Больше мне нету в жизни привязы».

И курган этот, у подошвы которого лежит Макар, называется Смертным. Нет, у Шолохова не бывает случайных деталей. Даже железному Макару Нагульнову, когда его хотят отлучить от партии, может прийти мысль о самоубийстве. Не случайно и авторское напоминание о древнем предании, что когда-то под курганом умер раненый казак:

Сам огонь крысал шашкой вострою,
Разводил, раздувал полынь-травушкой.
Он грел, согревал ключеву воду,
Обливал, обмывал раны смертные:
— Уж вы раны мои, раны, кровью изошли,
Тяжелым-тяжело к ретиву сердцу пришли.

Смертные раны Макара — это не те раны, о которых он пытался было напомнить Корчжинскому на заседании бюро райкома: «Я был в армии израненный... Под Касторной получил контузию. Тяжелым снарядом с площадки...» Такие раны Макару не страшны. Самая страшная и поистине смертельная рана для него — это тот приговор, которым его хотят поставить вне партии. И теперь Макару остается лишь привести приговор в исполнение, приехав домой и надев ту самую шинель, в которой он вернулся в хутор с фронта.

Не однажды Шолохов оставляет в романе героев наедине с природой. Как и в «Тихом Доне», все так же присутствует в «Поднятой целине», живет, дышит, звучит, вселяет в человека волю к жизни родная донская степь и опрокинутое над ней материнское небо.

Но одно дело, когда герой остается наедине с природой со своими радостями, молодыми надеждами, с любовью, и совсем другое, когда он готовится к смерти. Тут уже она, эта степь, с каждым ее стебельком и каждой капелькой росы, и это голубое небо с каждым облачком и напоминают ему о могучей красоте той самой жизни, с которой ему предстоит проститься, и умиротворяют его восстающую против самой мысли о неизбежности смерти душу, и укрепляют его, наполняют мужеством, так необходимым человеку для достойной встречи своего последнего часа. Величественным реквиемом звучат теперь для Макара Нагульнова, лежащего у подножия Смертного кургана, все эти голоса, краски, запахи родимой земли. Как будто он видит, слышит и чувствует их впервые. И это, читатель, уже не «вода возле камышистого островка» потревожена стайкой связией, камнями попадавших в пруд, а сама «распахнутая ими» душа Макара. И не поймешь, то ли это в степи, то ли в его измученном сердце «необычная для начала весны расколалась теплынь». Тут автор, который в этот час ни на шаг не отступает от своего героя, прямо берет слово, чтобы напомнить ему, что все это еще только часть красоты, часть жизни и что нужно еще раз охватить ее взглядом, увидеть всю, во всей ее неповторимости, прежде чем решать от нее отказаться. Увидеть и осенью, когда этот «величаво приосанившийся курган караулит степь...»; и летом, когда «вечерними зорями на вершину его слетает из подоблачья степной беркут»; и зимой, когда на ту же вершину выходит лисовин и «...агатовый влажный нос его живет в могущественном мире слитных запахов».

Тут автор прямо вплетает свой протестующий голос в реквием, объемлющий сердце Макара, противоборствуя его решению уйти из жизни, еще и еще напоминая ему: а ты слышишь этот «несказанно волнующий, еле ощутимый аромат куропатиного выводка, залегшего на дальней бурьянистой меже...»; и ты видишь, как навстречу ему плывет на брюшке лисовин, «не вынимая из звездно искрящегося снега ног»; и, наконец, не забыл ли ты, погруженный в свою трагедию, Макар Нагульнов, как «...точат заклеклую насыпную землю кургана суховеи, накаляет полуденное солнце, размывают ливни, рвут крещенские морозы, но курган все так же нерушимо властвует над степью, как и много сотен лет назад...»?

То есть это, разумеется, не прямо сам автор напоминает об этом Макару, а напоминают ему родная степь и родное небо своими запахами, красками и звуками, но прежде чем достигнуть сердца Макара, они должны были пройти сквозь сердце автора романа, и не где-нибудь еще, а только там они могли наполниться этой любовью и тоской, приобрести эту остроту, чистоту и свежесть.

Там они стали и той ключевой водой, которая омывает, возвращая к жизни, смертельно раненное сердце Макара.

И не где-нибудь, а здесь, как последняя капля этой ключевой воды, упадет на его сердце мысль, что смерть его может обрадовать только врагов. «...И с необыкновенной яркостью Макар представил себе, как довольный, улыбающийся Банник будет похаживать в толпе, оглаживать свои белесые усы, говорить: «Один натянулся, ну, и слава богу! Собаке — собачья смерть!»

И это будет тем тревожным аккордом, который окончательно исцелит Макара от личного, хоть и тягчайшего горя и опять позовет его в бой за большое общее дело, которому всегда было отдано его сердце. «— Так нет же, гадючья кровь! Не застрелюсь! Доведу вас, подобных, до точки!— скрипнув зубами, вслух сказал Макар и вскочил на ноги, будто ужаленный».

И вот уже он разыскивает глазами своего коня. Посветлевшим взором окидывает «распростертый окрест его мир». «Торжествовать вам над моею смертью не придется!» Теперь уже сама мысль о смерти кажется ему кощунственной, и она уходит от него прочь, подобно волчице, потревоженной в бурьянах его шагами: «Мгновение она стояла, угнув лобастую голову, осматривая человека, потом заложила уши, поджала хвост и потрусила в падину».

И, возвращаясь в хутор, Макар поспеет туда как раз в тот самый момент, когда он там особенно нужен,— в разгар семенного бунта. Избитый в кровь Давыдов уже изнемогал. И никто не знает, как повернулись бы события, не окажись под рукой у Нагульнова в этот момент нагана. Только что он думал о той единственной пуле, которую своей рукой пошлет себе в сердце, а теперь уже, заслоняя собой семенное зерно, говорит:

«—Семь гадов убью, а уж тогда в амбар войдете».

Он знал, что еще понадобится своей партии, будет нужен. В романе Шолохова он всегда на гребне.

Вот так же и в своей личной трагедии, вызванной разрывом с женой Лушкой, он остается до конца верным своему чувству долга, как бы дорого ни обходилась ему эта верность.

Личная трагедия Макара Нагульнова усугубляется еще и тем, что не на кого-нибудь другого променяла его Лушка, а на лютого вражину Тимофея Рваного, на кулацкого сынка. И как бы ни было велико целомудренное, глубоко запрятанное от посторонних глаз чувство Макара к Лушке, он не может себе позволить любить ее в то самое время, когда она любит врага. Иначе выходит, что в одном и том же сердце — в Лушкином сердце — он встречается и уживается с Тимофеем Рваным. Значит, нужно вырвать из сердца эту любовь. На слова Давыдова, что опозорила Макара жена тем, что закричала, заголосила, когда подвода увозила из хутора раскулаченного Тимошку, он устало отвечает: «Ну, чего ты меня за бабий грех шпыняешь? У ней и для меня хватит, а вот что с кулаком связалась и кричала по нем, по классовой вражине, за это она — гада, и я ее — что не видно — сгоню с базу. Бить же я ее не в силах. Я в новую жизню вступаю и руки поганить не хочу. А вот ты, небось, побил бы, а? А тогда какая же будет разница между тобой, коммунистом, и, скажем, прошедшим человеком, каким-нибудь чиновником?»

Вон на каких нравственных высотах стоит этот гремяченский романтик и альтруист. Что бы там ни было, а Макар Нагульнов не станет смотреть на женщину как на свою собственность. Какой бы Лушка непутевой ни была, она в своих действиях свободна. Как человек в высшей степени честный и цельный, Макар не может на словах поспешать к мировой революции, призывать к освобождению от всяческих видов рабства и в то же время дома смотреть на жену как на свою бессловесную рабыню. Макар никогда не раздваивается. Но поэтому же, как человек цельный, он не согласен и раздваиваться между своей любовью к мировой революции и своей любовью к Лушке, любящей Тимофея Рваного. И раз надо, значит, надо во имя первой всеобъемлющей любви принести в жертву эту вторую любовь. Вырвать ее из сердца. Макар нисколько не сомневается, что ему удастся осилить ее. Но не изведаны законы любви, и в каждом сердце она прокладывает свои тропы. «...Сколько сердец, столько родов любви»,— писал Толстой. Тем и прекрасно творчество Шолохова, что ему чужды схемы. Чего бы, казалось, вернее— и на первый взгляд это было бы в характере Нагульнова: вырвал из сердца Лушку, перешагнул через свою любовь,— и критики восторгнулись бы: Макар верен себе. Но это лишь на первый взгляд, и если поверить ему, то может оказаться, что Макар и в самом деле безнадежно зачерствевший в делах человек. Ему недоступны земные человеческие страсти... Еще и как доступны! Гремяченский коммунист Макар Нагульнов весь соткан из страстей. Даже Корчжинский, черствая душа, говорил о нем Давыдову: «...Из углов, и... все острые». И, как человек страстный, Макар никогда в своей жизни не придерживался правила золотой середины. Ни в любви, ни в ненависти, ни в радости, ни в горе. Ему еще предстоит выстрадать свой отказ от Лушки. И как бы он со всей присущей ему искренностью ни был убежден, что отныне раз и навсегда похоронил память о ней в своем сердце, мы на этот раз никак ему не поверим. Мы позволим себе вспомнить, что в то самое время, когда Лушка ходит на свидания к сбежавшему из ссылки Тимофею Рваному, носит ему в лес харчи, Макар Нагульнов, навсегда изгнавший за это Лушку из дому и, как он убежден, из своего сердца, носит с собой забытый ею платочек. Тот самый Макар, которого в чем угодно можно заподозрить, только не в сентиментальности. Ему еще предстоит до конца выстрадать свой разрыв с Лушкой, подстерегая с наганом Тимофея Рваного на тропе, ведущей к дому Лушки. Нет, не своего личного врага поджидает Макар с наганом у перелаза на этой тропе, но мы уже убедились, что у Шолохова нет лишних деталей. Тропа, по которой Тимофей крадется к дому Лушки и к ее сердцу, пролегла через сердце Макара. И никто не знает, сколько должно было выстрадать это сердце в те часы гремяченских ночей, когда Макар лежит с наганом у перелаза и внемлет крику одинокого коростеля у реки, гремучей и страстной дроби перепела в заречной луговине.

Но когда Тимофей наконец появится перед ним из темноты, верный себе Макар не станет его убивать исподтишка, не захочет, чтобы враг принимал смерть, не увидев ее в глаза. Сам Макар привык всегда смотреть в глаза смерти, и теперь он хочет, чтобы и Тимофей встретил ее, как это и подобает человеку. Пусть он и враг, перед смертью он должен

возвыситься над собой, над своим прошлым и настоящим. Нет, «Нагульнов не какая-нибудь кулацкая сволочь, чтобы стрелять во врага исподтишка». Он не тот же Тимофей Рваный, который участвовал в ночном вероломном убийстве Хопрова и его жены, а недавно — и опять под прикрытием темноты — стрелял из винтовки в Макара. Кроме того, Тимофей непременно должен знать, от чьей руки он умирает. И Макару тоже необходимо наверняка убедиться, что Тимофей знает об этом, знает. Взятый на мушку нагана, «Тимофей стоял, удобно подставив левый бок», но Макар крикнул:

«— Повернись лицом к смерти, гад!»

...И еще раз он захочет взглянуть на Тимофея, уже мертвого, с недоумением и пристальным вниманием всматриваясь в его черты. Нет, не простое любопытство владеет в эту минуту Макаром и не низменное желание насладиться чувством удовлетворенной мести. Как будто хочет Макар ответить себе на давно уже терзающий его вопрос: за что же Лушка могла любить Тимофея? Неужели же только за его внешнюю красоту, совсем не обязательную для мужчины? «Он и мертвый был красив, этот бабий баловень и любимец. На не тронутый загаром, чистый и белый лоб упала темная прядь волос, полное лицо еще не успело утратить легкой розовинки, вздернутая верхняя губа, опушенная мягкими черными усами, немного приподнялась, обнажив влажные зубы, и легкая тень удивленной улыбки запряталась в цветущих губах, всего лишь несколько дней назад так жадно целовавших Лушку».

Но чего же еще она искала и находила в нем, так и не распознав за этой красивой наружностью его звериной души и, быть может, наделив его в своем незрячем сердце совсем несвойственными ему качествами и чертами?.. Бывает и так.

Конечно, не в отмщение за свою поруганную любовь Макар убил Тимофея, но пока еще Тимофей был жив, обида и ревность как-то еще питали и любовь Макара. Теперь же «все, что волновало его долгие дни и годы, все, что гнало когда-то к сердцу горячую кровь и заставляло его сжиматься от обиды, ревности и боли,— все это со смертью Тимофея ушло сейчас куда-то далеко и безвозвратно». И что бы там ни говорить, а какая-то перемена произошла с того часа в Макаре. Он как оттаял сердцем. Нет, он не поступился ни своей любовью к мировой революции, ни своей ненавистью к ее врагам, но и ненависть его и любовь как бы окрасились скорбью. Вот в какой узел связалась судьба Макара на тропе у перелаза с судьбой Лушки и судьбой Тимофея. Жизнь завязывает такие узлы, которые и развязать нельзя — только разрубить можно.

После придет Макар в сельсовет к Разметнову и попросит у него ключи, чтобы выпустить Лушку. «Зря»,— скажет ему Разметнов. И вот что ответит ему тот самый Макар, который некогда говорил, что женщина нужна мужчине, лишь как «курюк» овце. «Молчи! — глухо сказал Макар.— Я ее все-таки люблю, подлюку».

И только теперь Лушка узнает от него, что он все время носил с собой ее кружевной платочек. «Возьми, теперь он мне не нужен».

Но он и тут не спустится со своих нравственных высот. Он признает за Лушкой право оплакивать свою любовь. «Ежели хочешь проститься с ним,— он лежит у вашего двора за перелазом». И дальше Шолохов пишет: «Молча они расстались, чтобы никогда уже больше не встретиться. Макар, сходя со ступенек крыльца, небрежно кивнул ей на прощанье, а Лушка, провожая его глазами, остановила на нем долгий взгляд, низко склонила в поклоне свою гордую голову. Быть может, иным представился ей за эту последнюю в их жизни встречу всегда суровый и немножко нелюдимый человек? Кто знает...»

Таков образ и характер этого романтика из Гремячего Лога. Трагедийный? Да. Но столь же и героический. Характер, олицетворивший собой целое поколение людей героической эпохи коллективизации деревни.

Хутор Пухляковский.



Память о встрече с Ильичем

Свердловчанин Ермолай Кириллович Старцев был участником I Всероссийского съезда по внешкольному образованию. Съезд открылся 6 мая 1919 года в Москве, и Владимир Ильич Ленин выступил на нем с приветственной речью.

— По окончании съезда меня оставили в Москве на первых Всероссийских курсах инструкторов-организаторов внешкольного образования,— вспоминал Е. К. Старцев.— В работе этих курсов активнейшее участие принимала Надежда Константиновна Крупская. На курсах обучалось 120 человек. Я был избран председателем комитета курсантов (так в те годы назывался профком слушателей).

Проучились мы до конца октября 1919 года, а потом единогласно решили прервать учебу и идти всем добровольцами на фронт.

Об этом решении Владимир Ильич узнал от Надежды Константиновны и неожиданно для нас приехал 28 октября 1919 года вместе с ней на наше последнее собрание. Здесь он произнес напутственную речь.

Владимир Ильич одобрил инициативу курсантов, рассказал о положении на фронтах.

По окончании речи Владимир Ильич предложил нам сфотографироваться вместе с ним. (Оригинал фотографии и воспоминания хранятся в партархиве Свердловской области. Переданы женой Е. К. Старцева З. Ф. Черноголовой.)

— В память встречи с вами,— улыбаясь, сказал он.

Ермолая Кирилловича Старцева сейчас нет уже в живых. Но, возможно, кто-либо из сфотографированных рядом с Владимиром Ильичем сможет дополнить рассказ об этой редкой фотографии, расскажет о себе, о своих товарищах по курсам.

С. ЗАХАРОВ

В МОСКОВСКОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ

Этот редкий снимок передал редакции «Огонька» Павел Никитович Яковлев, работник Управления охраны общественного порядка Мособлисполкома. История снимка такова.

В августе 1935 года Никита Сергеевич Хрущев, тогда первый секретарь московского областного и городского комитетов партии, побывал в летних лагерях Московской пролетарской дивизии. Вместе с ним были работники Моссовета и горкома партии. Провели в лагерях целый день. Присутствовали на стрельбах, обедали вместе с бойцами, а вечером смотрели самодеятельный красноармейский концерт.

Павел Никитович Яковлев, в то время секретарь Кировского райкома партии Москвы, был в тот день у бойцов. Он-то и сделал снимок, который мы сегодня публикуем.



Н. С. Хрущев и комдив Московской пролетарской Л. Г. Петровский смотрят результаты стрельб. Отличное попадание!



Микола ХВЕДАРОВИЧ

Заморский подарок

К себе домой из жарких стран
Вернулся дядюшка Степан.
Он воздвигал плотины
Для наших побратимов.
Там солнце всех чернит подряд,
И он стал словно шоколад.
А вся его бригада
Темнее шоколада.
Он всем друзьям, с кем жил и рос,
Приветы Африки привез.
Ответил на вопросы
И подарил кокосы.
Хорош кокосовый орех,
Но мой подарок лучше всех.
Какой подарок?.. Вот вопрос!
Никто не отгадает.
Мне в клетке дядюшка привез
Красивых попугаев.
Я рано утречком встаю
И птичкам корму задаю.
Даю морковку и траву.
И засыпаю просо.
И воду чистую даю
В скорлупке от кокоса.
И птицы дружно, на свой лад,
Меня всегда благодарят.
Им хорошо со мною жить,
Им есть за что благодарить.
Чем жарче в доме топишь печь,
Тем веселей их птичья речь.

С белорусского перевел
И. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Ф. КРИВИН



Подсолнух

Маленькое Семечко подпрыгивало на ветру и кричало высокому Солнцу:

— Послушайте, послушайте! Вы можете на минутку опуститься на землю? У меня к вам дело, мне нужно с вами посоветоваться!

Важное дело есть важное дело, это и Солнцу понятно. И вот оно опускается на землю, правда, медленно, не так, как этого хотелось бы нетерпеливому Семечку.

— Понимаете,— объясняет Семечко, не дожидаясь, пока Солнце опустится,— я хочу стать таким, как вы. Только не знаю, что нужно для этого сделать. Способности у меня есть, это и специалисты подтверждают, но все остальное...

Солнце уже село на землю и внимательно слушало Семечко. А оно все бежало к нему и все говорило:

— Главное, что я не могу оторваться от земли. Если бы не земля, я бы уже давно...

Семечко не кончило этой мысли: оно остановилось пораженное. И было чему удивляться: Солнце — Семечко это очень хорошо видело — вдруг ушло под землю.

Что делать Солнцу под землей? Может быть, там Семечко сможет продолжить с ним свой разговор? И Семечко стало зарываться в землю.

Трудно сказать, встретилось ли Семечко с Солнцем под землей, но вышло оно из-под земли совсем другим, на себя непохожим. Больше того, оно даже стало похоже на Солнце. Все, кто его видел, это сразу замечали.

Кто помог Семечку, кто ему дал совет: Солнце, Земля или Человек, часто навещавший его в поле,— неизвестно.

Может быть, Солнце, потому что и сейчас, став маленьким солнышком на длинной ножке, бывшее Семечко тянется за ним, поворачивает голову в его сторону.

А может быть, Земля, потому что бывшее Семечко крепко держится за нее, больше не хочет улетать на небо.

А может быть, Человек. Человек вообще все может.

Я НАРИ



...А Вова нарисовал пограничника. И на этого пограничника мчалась лиловая вражеская машина...

В машине сидели лиловые вражеские солдаты, а кругом бушевал ураган и хлестал страшный ливень. Они нарочно выбрали глухую, ненастную ночь, те бандиты. Они спешили, они хотели пересечь нашу советскую границу!

И храбрый советский пограничник выстрелил в них из своего боевого автомата. И услыхали бойцы на заставе и бросились наперерез.

Свистели пули, пули пробили все шины, и нарушители стали сдаваться. И тут надо было нарисовать, как ранило храброго бойца в перестрелке, как по-

ПОНАРОШКА ПРО ХОРОШУЮ ПОГОДУ

Владимир ГОЛЯХОВСКИЙ

Раз,
два,
три,
четыре,
пять,
Шла по небу туча-мать
И вела за ручку
Маленькую тучку.

Ждал их в гости
На обед
Старый Гром —
Сердитый дед,
Приготовил он салат:
Бурю,
ветер,
смерч
и град;
Приготовил он компот:
Снег,
метель
и гололед,
И добавил погодя
Макароны
Из дождя.
Вышли тучи на обед,
Нарядились в черный цвет.
А навстречу
Мимо туч
Шел по небу
Солнца луч,
Шел по небу,
Песни пел
И мороженое ел,
Ел из шариков — боков
Белоснежных облаков.
Он увидел тучу с тучкой,
С черной тучкой-
Закорючкой,
Он скользнул
На тучи
С кручи
И стрелой
Вонзился в тучи,
Прямо в тучи,
Прямо в тучи,
Прямо в тучи —
Словно гвоздь,
Продырявил их
Насквозь,
Продырявил,
Засиял,
Тучи черные
Прогнал.
Поплелись они назад
Штопать рваный свой наряд.
И опять,
опять,
опять —
Раз,
два,
три,
четыре,
пять...
Была хорошая погода.

Не одна

Агния БАРТО

Мы не ели, мы не пили,
Бабу снежную лепили.

Снег февральский, слабый,
слабый,
Мялся под рукой,
Но как раз для снежной
бабы
Нужен нам такой.

Нам работать было жарко,
Словно нет зимы,
Словно взял февраль у
марта
Теплый день взаймы.

Улыбаясь, как живая,
В парке, в тишине,
Встала баба снеговая
В белом зипуне.

Но темнеет, вот досада,
Гаснет свет зари,
По домам ребятам надо,
Что ни говори!

Вдруг нахмурилась Наталка,
Ей всего лет пять,
Говорит:— Мне бабу жалко,
Что ж ей тут стоять?
Скоро стихнет звон трамвая
И взойдет луна,
Будет баба снеговая
Под луной одна?!

Мы столпились возле бабы,
Думали — как быть?
Нам подружку ей хотя бы
Нужно раздобыть.

Мы не ели, мы не пили,
Бабу новую слепили.

Скоро стихнет звон трамвая
И взойдет луна,
Наша баба снеговая
Будет не одна.

Эмма МОШКОВСКАЯ

СУЮ СОЛНЦЕ

текла на траву его алая кровь. Но красного карандаша у Вовы не было. Он хотел взять у Сони.

— Дай мне свой красный карандаш,— сказал Вова. — Ты видишь, он ранен, этот боец, я кровь нарисую.

— Не надо, чтоб кровь, — сказала Соня. — Лучше давай я тебе нарисую, как ему уже сделали перевязку. А красным карандашом я лучше солнце тебе нарисую.

— Какое же солнце, — сказал тогда Вова, — ведь бой, он был ночью!

— Но бой прошел, и теперь уже утро, и храбрые пограничники там отдыхают. Дай мне альбом, — сказала Соня, — я нарисую им солнце.



Людмила ЗУБКОВА

Летят,
летят смешинки,
Над улицей звенят.
Смешинки-невидимки
Не зря смешат ребят...
Везде они щепотками
Рассыпаны для всех.
Веселыми щекотками
Они разбудят смех.
Всех рассмешить им хочется,
Пусть смех в глазах блестит,
Они всерьез охотятся
За теми, кто грустит.
Смешинки — не снежинки,
Не тают никогда.
А вот грустинки-льдинки
Исчезнут без следа.
Летят,
летят смешинки,
Над улицей звенят...



Андрюша

Федор ХАРИТОНОВ

— Где же яблоко, Андрюша?
— Яблоко? Давно я скушал.
— Ты не мыл его, похоже?
— Я с него очистил кожу.
— Молодец ты стал какой!
— Я давно уже такой.
— А куда очистки дел?
— Я очистки тоже съел.

Ты знаешь край...

Итальянские стихи

ОДНИМ МЕНЬШЕ

Дядя Сэм,
подобно кукушке,
в чужие гнезда
подбрасывает приплод:
«взрослеют»
бомбардировщики,
танки,
пушки,
не принося родителям
лишних хлопот.
И вот
Италия,
в небо глядя,
видит
вскормленных
на ее хлебах
шустрых птенцов заморского дяди,
кувыркающихся в облаках.
Танки все чаще —
а чем они хуже?—
резвятся
среди виноградников
и олив.
Пушкам
нужно порой,
поднатужась,
выплюнуть
застрявший
в глотках
взрыв.
А кормилица в унынье:
«Нет покоя и ночью.
Гнешь спину на них
от зари до зари,
а они
над душой
знай гудят
да грохочут.
Хоть бога,
хоть беса
на помощь зови!»
Вокруг
города
красоты редкой,
смотришь
и видишь сон наяву.
А ну как приспичит
затейливым деткам,
наигравшись в войну,
начать войну?!
...Утро.
Мы только что выехали из Пьомбино.
Отсвечивает в море
лучистый восток.
Белые деревни,
зеленые долины
встречают,
провожают
лесами цветов.
И внезапно,
из другого мира словно,
возник над нами
реактивный самолет.
Умчался,
вернулся
и, воя злобно,
в каком-то исступленье воздух сечет!
Клещом врастая
в чистое небо,
он грязнил его,
рвал,
кромсал!
И вдруг
заюлил,
затрясся нелепо
и, на лету разваливаясь,
падать стал!
Закричали женщины,
пряча лица.
Был вполне понятен их страх.
Рухнуло
это «дитя зегзицы»
от автобуса
метрах
примерно
в двухстах.
Наш гид,
ладный
вихрастый парнишка,
всматриваясь
в рассеивающийся дым,
поморщился
и сказал:
— Этому
крышка!
Слава богу,
меньше одним!

САНТА КРОЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ

Знобит огоньки в капелле...
Здесь жизнь поистине бренна,
здесь,
где Микеланджело,
Галилей,
Макиавелли
в плену у тлена...

Безмолвна гробница Россини.
Но чьи
мне душу вдруг оросили
серебряных звуков ручьи?!

О, если бы видеть зорче
и знать, что у этой ниши
еще раз в тиши Санта Кроче
рыданье Данте услышу!..

Грустят над унылым кровом
белые серафимы.
Пройду ль здесь когда-нибудь снова,
той же грустью томимый,

чтобы у праха творцов
ликующих звуков, речений, линий
под бронзовой сенью
«Персея» Челлини

опять испытать это чувство —
благоговейно смотреть,
как побеждает искусство
время,
пространство,
смерть?..

ВЕРОНА

Полюбила Верона смех
невоинственных поколений.
А Монтекки и Капулетти
утихомирила смерть.

Вдалеке розовеют Альпы.
Все дома в закате хрустальны.
Вечером отчего печальны
полноводной Адидже альты?..

Вновь вьюнок взбегает к балконам
стремительно и дерзновенно,
вновь у ног Джульетты Ромео,
но разлука грозит влюбленным.

Снова искренне возмущены
ненавистники счастья чужого.
Достается оружье снова
и бряцает средь тишины.

За лазурью приходит ненастье.
И вот с неизбежностью в споре
уже затравлено счастье
и поминки справляет горе.

Но когда любовь безмерна,
но когда любовь беззаветна,
убивают ее тщетно,
ибо она бессмертна!

Вновь вьюнок взбегает к балконам
стремительно и дерзновенно,
вновь у ног Джульетты Ромео,
и ничто не грозит влюбленным!

Эти руки, глаза и губы
и поныне друг другу любы
и в ночах проступают усопших,
как цветы средь листьев засохших.

Вдохновенной мысли усилье —
и из плеч вырастают крылья,
и Ромео летит с Джульеттой
над завороженной планетой.

Над веками полет их длится,
и пылают от счастья лица.
Пустует любви гробница,—
ей приходится с этим мириться.

...Полюбила Верона смех
невоинственных поколений.
А Монтекки и Капулетти
утихомирила смерть.

ВЕНЕЦИЯ

Эти легкие взлеты барокко —
арка, башенка, мостик дугой —
как живая картина былого,
застекленная зыбкой водой.

Вот задвигались тени. И снова
в настоящем, как прежде в былом,
покоряет сердца Казанова,
снова Байрон в свободу влюблен.

Выходя из собора Сан-Марко,
в настоящем — не в дальнем былом —
встретишь ты благородного мавра
с омраченным печалью челом.

Чтоб со дна своей скорби бессонной
он поднялся, ее одолел,
эй, в гондоле, с живой Дездемоной,
правь, чудесный, к нему, гондольер!

Тени милые, в тусклую небыль
уходить вам из жизни нельзя.
Тицианом вам отдано небо,
Веронезе дана вам земля.

Как прекрасно увериться утром
в том, что воздух за ставнем пьянит,
что распахнутым пестрым уютом
вновь таверна тебя полонит!

...Словно хрупкая девичья прелесть,
венецейское меркнет стекло.
Пусть в стихах, что в него загляделись,
день-другой остается светло...

Перевел с литовского
Леонид МИЛЬ.



— Этому крышка!

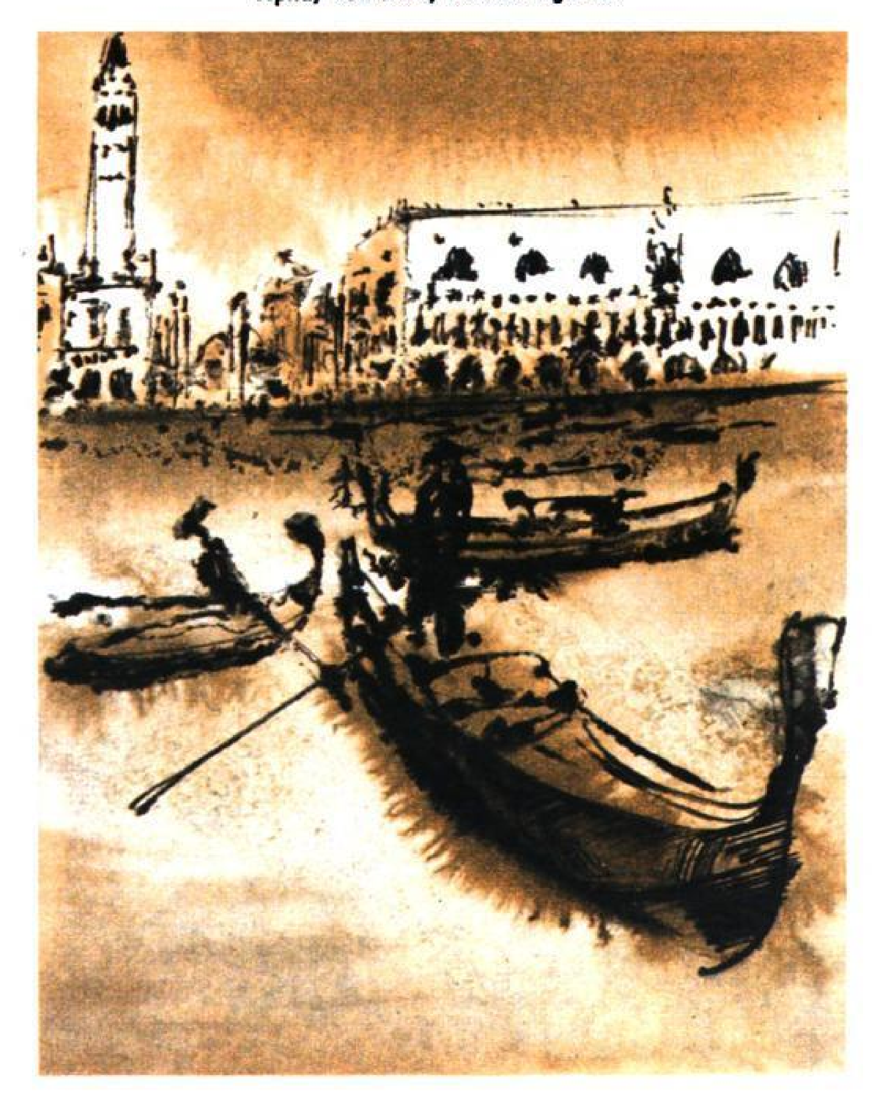


Пройду ль здесь когда-нибудь снова...

И Ромео летит с Джульеттой...



Арка, башенка, мостик дугой...





КОГДА ЯБЛОНИ ЦВЕТУТ...
Фотоэтюд Б. Кузьмина.



Кадр из фильма Чаплина «Цирк»

Понятный всем

К 75-ЛЕТИЮ ЧАРЛИ ЧАПЛИНА

Григорий АЛЕКСАНДРОВ

Пятьдесят лет назад, 2 февраля 1914 года, на экран вышел первый фильм с участием Чарли Чаплина. Он назывался «Зарабатывая на жизнь».

Не сразу сформировался известный ныне образ маленького, добродушного, смешного и честного Чарли. Чаплин прошел через серию дурашливых картин голливудского толка, прежде чем нашел комедийный путь разоблачения буржуазного общества.

«Мир жесток и суров. Мир нужно переделать» — вот мысль, которую Чаплин, автор, режиссер, актер и композитор, проводит красной нитью через все свои произведения.

Пожалуй, он единственный художник американского кино, которому удалось ценой смелой борьбы стать независимым и создавать фильмы по своему творческому усмотрению.

Нелегко и непросто было Чаплину добиться этого. Его картины пытались опорочить, дискредитировать. Уже в 1927 году «сословие бешеных» требовало заточить Чаплина в тюрьму или изгнать его из Соединенных Штатов.

Представители желтой прессы Америки подкупили секретаршу Чаплина, некую Мэй Риво. Под их диктовку она написала и опубликовала книгу, в которой называла замечательного человека уродом, хвастуном, скрягой, невеждой, жалким клоуном с походкой пингвина. Мэй Риво бесстыдно сочиняла, что Чаплин будто бы уверял ее: «Вскоре весь мир станет большевистским, в том числе Англия и другие страны, а его, Чаплина, выберут президентом «Британской Советской Республики».

Продажное перо царапало на бумаге те слова, которые диктовали наниматели.

В 1947 году Чаплин опубликовал в печати свое кредо:

«Я твердо решил объявить раз и навсегда войну Голливуду и всем его обитателям».

В фильме «Диктатор», смело атакующем Гитлера и Муссолини, Чаплин пророчески говорил с экрана:

«Всем, кто может услышать меня, я говорю: не отчаивайтесь! Несчастье, поразившее нас, лишь результат дикой жадности и злобы



людей, боящихся человеческого прогресса. Ненависть между людьми пройдет, и диктаторы погибнут. Власть, которую они захватили, вернется к народу...»

После выхода фильма «Диктатор» ярость Гитлера не знала границ. Фашистское правительство Германии посылало ноты протеста президенту Рузвельту, нанимало террористов и убийц. А когда Гитлер напал на Советский Союз, Чаплин выступил как ярый антифашист. На митинге в Сан-Франциско, где присутствовало более 10 тысяч американцев, он сказал:

«Товарищи! Да, я называю вас товарищами, и я приветствую наших русских союзников, как товарищей!»

Слово «товарищи» по отношению к советским людям стало первым пунктом обвинения Чаплина в антиамериканской деятельности. Началась подготовка изгнания Чарли из Америки. А он в 1942 году обратился с письмом к президенту Рузвельту, призывая открыть второй фронт и заявляя, что на русском фронте решается судьба демократии.

Буржуазная печать объявила Чаплина окопавшимся антиамериканцем, коммунистом, требуя немедленно изгнать его из Соединенных Штатов. Но Чаплин, невзирая на оскорбительный рев и вой, продолжал писать и выступать.

«Я приветствую тебя, Россия, ибо ничто не может остановить тебя по пути прогресса. Ничто, даже фашисты со всей своей звериной жестокостью, со всей своей гигантской военной мощью не могут победить тебя!»

Чаплин не только великий артист, он великий гражданин мира. Во всех его картинах идет великая борьба за мир и правду. И сам он говорит: «Для человека моего возраста только одно имеет значение — правда... правда... правда... Только этого я и хочу».

В 1953 году Чарли Чаплин был удостоен Международной премии мира. Тогда же Чаплин огласил свою «Декларацию о мире», призывая нации не использовать насилие для разрешения своих разногласий.

Денежную часть премии он передал борцам за мир Лондона, Вены и Женевы.

Вновь буржуазная пресса подняла клеветническую кампанию против Чаплина, крича о сговоре с «красными».

Чарли Чаплин ответил: «Я буду идти своим путем»... В фильме «Король в Нью-Йорке» он с большим юмором разоблачает нелепости американского образа жизни.

В этом последнем — восемьдесят первом — фильме Чарли ясно видно, что Чаплин не хотел мстить за пережитые им оскорбления, его желание—уничтожить смехом то зло, которое делает бессмысленной жизнь общества, руководимого «сословием бешеных». Вместе с тем видно, как Чаплин любит американский народ, с каким большим уважением относится он к прогрессивным деятелям американской нации.

«Для того, чтобы быть понятым миллионами, надо думать так же, как думают они»,— всегда говорит Чаплин. И миллионы людей во всем мире любят его.

У Чаплина строгий художественный вкус.

Однажды мы с Л. П. Орловой и женой Чаплина Уной осматривали их владения. Чаплин неожиданно показал на цветочную грядку:

— Видите, как безвкусны и пестры эти клумбы. Они напоминают мне американские цветные фильмы фирмы «Техни-Колор». Обязательно уничтожу эту пошлую пестроту!



«Грише от Чарли» — написано на этой фотографии, подаренной Чаплином Г. В. Александрову.



Г. Александров и Любовь Орлова в гостях у Чаплина.



Чаплин с женой и детьми.



Художественные фильмы самого Чаплина сверкают юмором. Они не стареют так же, как и сам Чаплин не старится. Когда смотришь на 75-летнего Чарли, который с таким задором показывает, играет, поет, декламирует, играет на рояле, невозможно поверить в его почтенный возраст.

А когда в комнате появляются его дети — веселая, шумная ватага,— это бывает особенно интересно. Он перестает быть взрослым, становится ребенком, и дети воспринимают это с восторгом.

— Вот для кого нужен мир,— говорит Чаплин, и лицо его с обаятельными голубыми глазами становится серьезным.

Чаплин получает наслаждение от артистической игры. Играть для него — значит передавать людям свои мысли и чувства. И потому, когда у него собираются друзья, Чаплин показывает им сцены и этюды на самые неожиданные темы. Мне больше всего понравился чаплинский этюд, который я видел у него еще в 1930 году. В тот вечер я сидел рядом со знаменитой актрисой Патрик Кемпбэлл—мне, как постановщику пьесы «Милый лжец», интересно это вспомнить сегодня... Тогдашнюю игру Чарли можно назвать «Парад характеров».

Радиола играет бравурный марш, и Чаплин объявляет, что сейчас мы увидим, как на парадах ходят разные персоны. Затем Чаплин скрывается за ширмой. Через мгновение он появляется из-за нее, марширую таким образом, что все узнают чванного генерала. Комнату оглашает хохот и гром аплодисментов. Чаплин вновь скрывается за ширмой и появляется в новом неожиданном образе: все узнают знаменитого киноартиста Дугласа Фербенкса, который желает нравиться публике, очаровывать ее. Затем Чаплин показывает, как ходят на парадах французы, англичане, немцы. Пожалуй, смешнее всех он изображал марширующих американцев. А когда уставшие от непрерывного смеха зрители вытирают платками слезы, Чаплин, выдержав паузу, объявляет:

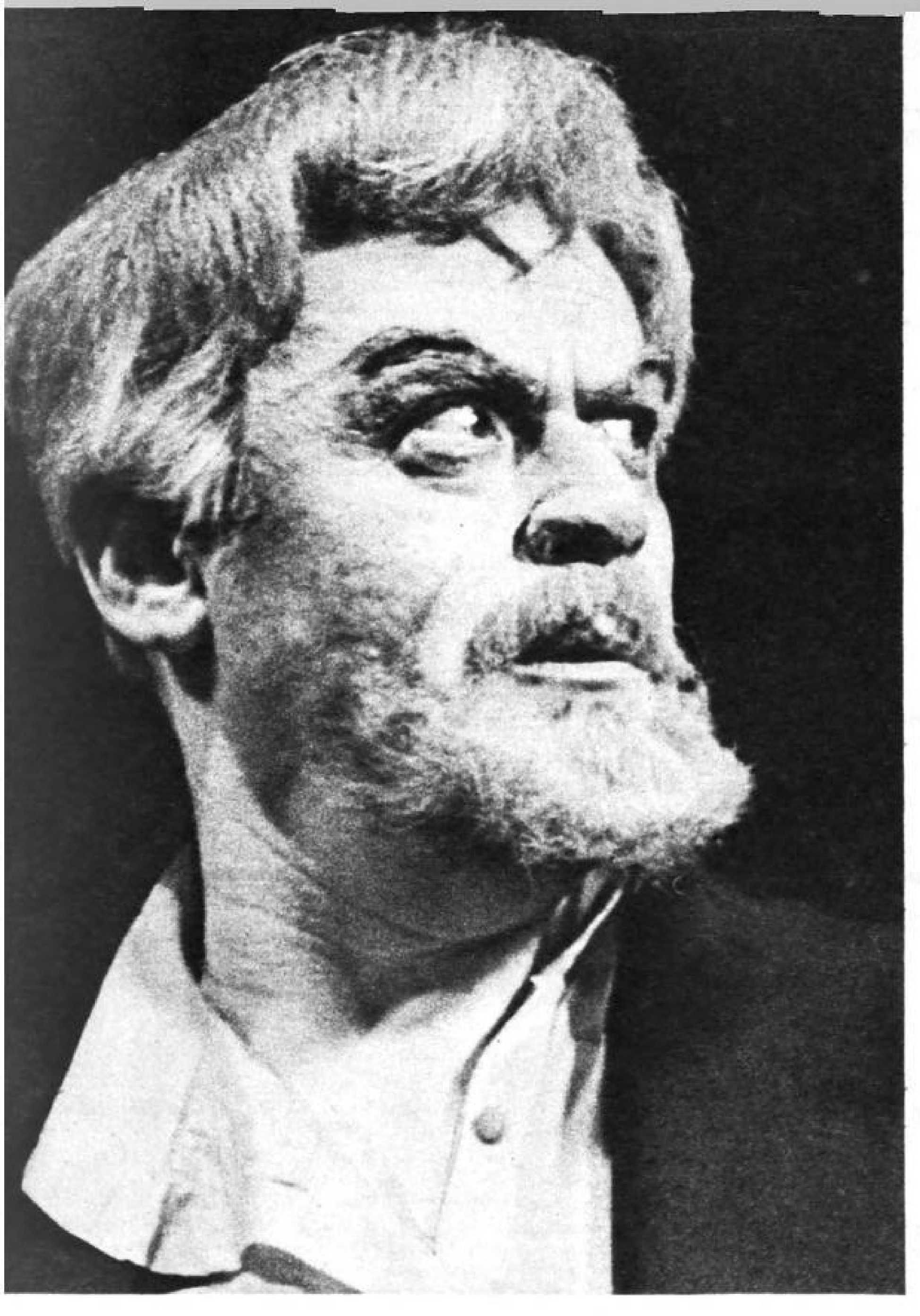
— Сейчас вы увидите, как в конце парада идут комики.

Все готовятся к новому смеху и замирают в нетерпеливом ожидании. Чаплина долго нет. Может быть, артист набирает силы для стремительного выхода, чтобы споткнуться, упасть, опрокинуть мебель?.. Нет! Ничего этого не происходит. Появляется усталый и грустный человек. Он идет медленно, не стараясь попасть в ритм марша, его не интересует парадная шумиха: он наблюдает. Подходит к нам. Останавливается и испытующе, в упор смотрит в глаза. И вы начинаете понимать, что роли меняются. Теперь уже вы сами становитесь смешными. Вспоминается Н. В. Гоголь: «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!..» Зрители чувствуют себя неловко. Оправляют костюмы, они не знают, что делать со своими руками... А он все смотрит и смотрит... Перед вами возникает человек, который знает вас насквозь. Человек большой и умный...

Вот как, оказывается, думает он о комиках!

В 1962 году Чарли Чаплину присудили докторскую степень Оксфордского университета в Англии. Это была сенсационная новость, ибо ученая степень Оксфорда впервые присуждалась актеру-комику.

Чаплина хорошо знают и любят в нашей стране и ждут, когда на наших советских экранах состоится фестиваль картин Чарли Чаплина. И сам мастер, прибыв в нашу страну со всем своим семейством, увидит, как гостеприимно и радостно примут его советские люди!



Егор Булычов — Борис Ливанов.

Неумирающий БУЛЫЧОВ

Мы шли на мхатовского «Булычова», зная о восторженных оценках критики, о постоянных аншлагах в дни этого спектакля. И все же... Откуда бы здесь взяться новому?

Ведь «Егор Булычов и другие», несмотря на свою молодость — горьковской пьесе исполнилось только тридцать три года,—ставился чуть ли не на всех театральных площадках Союза. Спектакль вошел в репертуар почти каждого народного театра. Еще в 1937 году Всероссийское театральное общество смогло собрать конференцию артистов—исполнителей роли Егора Булычова. Можно представить, насколько масштабна была бы подобная конференция в наши дни!

«Булычов»— одна из самых совершенных пьес Горького; «фигуры как из бронзы»,— говорил В. И. Немирович-Данченко; и одна из самых заигранных. Многочисленные толкователи ее, а среди них выдающиеся — Щукин, Леонидов, Вагаршян, Крушельницкий, Лукьянов,— казалось, уже все здесь открыли, все исчерпали.

Но в первом же акте ледок недоверия сломался. Возникала радость от встречи со знакомыми незнакомцами. Возникло ясное ощущение, что видишь необычный сплав свежести и традиционности.

Борис Николаевич Ливанов — постановщик «Егора Булычова» и его сопостановщик И. М. Тарханов вызывают к жизни душу подлинного МХАТа и, вдохновленные горьковской страстностью и наполненностью, создают новый, глубокий по смыслу и содержанию спектакль.

Никаких нарочитых, броских новаций нет на сцене, но вглядитесь в рисунок образов...

Первые же реплики Ксении — жены Булычова, которую играет А. П. Георгиевская: «— Это кто — черти? ...Черти-то — Звонцовы!»,— заставляют приглядеться к ней внимательно. Властная складка плотно сомкнутых губ, круглые, птичьи, без намека на какую-либо мысль глаза. И сразу видишь, слышишь не приживалку, не жену из милости, забитую и задавленную самодурством мужа. Ксения—Георгиевская ходит по дому, во все сует нос, как полновластная хозяйка. Простовата — это так, и надо видеть, с каким тупым вниманием богомолки слушает она попа Павлина. Но ключи от шкафа недаром в ее руках!

Трактовка образа дает новый акцент в прочтении пьесы: не Булычов хозяин этого дома. Не его и не Шуркин это дом. Здесь всем заправляет Ксения, а вкупе с ней мать Мелания (К. Еланская) и молодые Звонцовы.

Сколько мягкой, кошачьей вкрадчивости в манерах красивого мужа Варвары (артист Г. Колчицкий) и откровенной властности, неприкрытой заносчивости, надменной хамовитости у самой Варвары — истинной Ксеньиной дочери (Е. Ханаева).

А что же Булычов?..

Огромная силища еще живет в этих руках, неуемное озорство в душе; красивая, умная рыжая голова гордо сидит на плечах! Разгуляться бы ему на вольной волюшке... Откровенно лишний он в своем доме. Трагически заострен его конфликт с окружающим миром; романтически приподнят, высветлен образ.

После спектакля мы попросили Бориса Николаевича Ливанова рассказать о своей работе над спектаклем. Артист же начал не о спектакле, но о встрече своей с Горьким. Она произошла в том же году, когда создавался «Егор Булычов». Правда, Горький не говорил собравшимся о пьесе; стало известно о ней позже. В больших пимах, высокий, угловатый, нетороппиво шагая по комнате, хозяин рассказывал случаи из своей жизни и удивительно колоритно, выпукло представлял различных людей. Ливанов — а он ведь, кроме того, что артист, еще и художник — рисовал, положив блокнот на колени под столом: вдруг Горький обидится на зарисовку... Старался схватить главное в этом большом человеке. Уже потом понял, что навсегда поразил его горьковский щедрый ум, доброта ума, страстный интерес к людям, к тому подлинному, что скрывается за их словами.

Следуя Горькому, вот этому основному его человеческому качеству, и шел артист, постановщик спектакля к сердцевине каждого образа, к сквозному действию пьесы.

Мечется Булычов по дому — мечется и не находит покоя его ду-

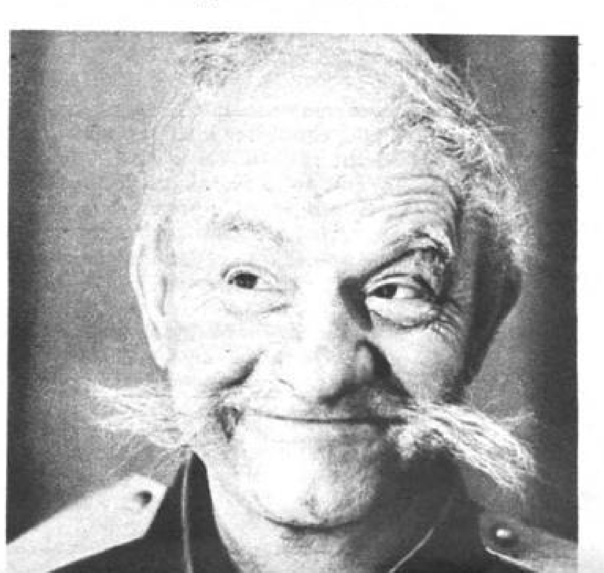
Глафира — Г. Попова.



Звонцов — Г. Колчицкий.



Трубач — В. Попов.



Ксения — А. Георгиевская.



ша. И в своих метаниях все больше тянется он к людям. Только через них, через ту правду, которая кроется в их душах, хочет он понять смысл бытия.

Егор видит Шурку — и сразу светлеет лицом: будто падает на него частичка излучаемого ею света. А Нина Гуляева именно такой делает свою Шурку — озорной и чистой, ясной до лучезарности.

И с Глафирой (Г. Попова) Булычов связан душою. Поэтому-то и зовет она его: «Брось все, уйди от них... В Сибирь уедем, я работать буду...» Глафира, как и Шурка, выражают лучшее в Булычове.

Смотришь спектакль — и возникает такое ощущение, что Ливанов-актер и Ливанов-постановщик — нечто единое, неразрывное целое. В работе с каждым актером он искал своего, нового Булычова.

— Каждую репетицию Ливанов превращал в увлекательнейший спектакль,— говорит М. Прудкин (Достигаев). — Каскадом фантазии, выдумки он будил воображение и темперамент актера.

Не умирающий душою Булычов — вот каким видят зрители Ливанова. Трагически-наполненным и эпически-монументальным. В плане высокой романтики поведал он созданную Горьким историю этой неуемной души. Булычов сломлен у Ливанова только физически. В мучительных поисках правды до последней минуты бунтует он; до последней минуты думает и ищет...

Так органичен Ливанов в этой новой своей роли, что, кажется, все годы — все шестьдесят прожитых им лет и сорок лет работы в театре — он только и готовился сыграть эту роль, куда-то про запас откладывая для нее наблюдения, опыт всей жизни.

Больше двадцати лет назад в прессе разгорелся интересный спор о возможностях дальнейшего роста актера Б. Н. Ливанова. Высказывалось мнение, что его стихия — острая характерность, живописная четкость. Но Михаил Михайлович Тарханов сказал: «В Ливанове живет какой-то неуемный актерский дьявол, не знающий успокоения. Он пробует многое и разнообразное, потому что он вечно ищет». И Тарханов добавил, что этот актер потрясет еще зал трагическим накалом страстей, вызовет слезы у зрителей сочувствием к страдающей душе своего героя.

Теперь, когда Егор Булычов — Ливанов выходит к зрителям, занавес распахивается вновь и вновь, публика не хочет расходиться, молодежь с галерки, как в давние времена большого МХАТа, все повторяет: «Спасибо!»

Л. ОСИПОВА

Фото Р. Лихач.

Шура — Н. Гуляева.



Вечерняя заря

Рассказ | **Сергей НИКИТИН** | **Рисунок А. ЛУРЬЕ.**

Летним вечером на своей подмосковной даче, уединившись от гостей, сидел у открытого окна старый писатель. После недавней болезни врачи запретили ему курить, и теперь он с раздражением думал о том, что к бесконечному числу мелких нелепостей, сопутствующих последним дням его жизни, прибавилась еще одна.

Раньше он любил курить трубку. За долгую жизнь она стала как бы частицей его самого. Она была на всех его портретах. Она выработала у него скупой и выразительный жест при разговоре. Она приходила к нему на помощь в затруднительных спорах, когда, набивая и раскуривая ее, можно было выиграть время для достойного ответа. Три марки табака, смешанные в продуманных и испытанных пропорциях, напитали его волосы, одежду, оконные шторы и мягкие кресла кабинета экзотическим ароматом субтропиков, всегда как-то волнующе подстегивающим его воображение. Трубка грела ему пальцы во время работы...

А что же стало теперь? Пальцы его были постоянно сухи и холодны. В кабинете стоял жирный, вязкий запах резеды, от которого во рту скапливалась противная сахаринная сладость. Вместо приятного волнения, связанного с ритуалом раскуривания трубки, при мысли о ней вскипало, как едкая пена, раздражение. Короче говоря, эта его частица уже перестала жить, и он, вняв советам врачей, уступив настояниям домашних, сделал шаг не от смерти, а к ней, в чем и состояла новая нелепость.

Впрочем, она, как и все другие мелкие нелепости, проистекала от одной большой. Выходило так, что он, не боявшийся смерти, давно познавший ее мудрую необходимость и спокойно приготовившийся к ней, должен был всем своим поведением оберегать окружающих от страха перед его смертью, вместо того чтобы напоследок пусть коротко, но ярко возгореться в делах, мыслях и желаниях своих. Он понимал, что страх этот продиктован любовью к нему, он понимал все, но в житейском смысле был просто раздражительным, измотанным болезнью стариком и в общении с людьми не мог удержаться от едкого сарказма, от вызывающего и поддразнивающего озорства. Он только что сказал за столом, что не может дольше оставаться на этой даче, где ему опостылела каждая щель в полу, что по натуре он цыган и в скором времени непременно уедет бродяжить. Куда? Ну куда теперь все едут? На стройку, конечно. Вздор? А, собственно, почему?

В глубине души он и сам считал мысль о поездке на одну из волжских строек, о которых тогда много писали в газетах, вздорной. Он неторопливо, спокойно, основательно работал сейчас над своей, быть может, главной книгой, вызывая в памяти всех, с кем сводила его богатая скитаниями жизнь, заново оценивал свои мысли, поступки, взгляды на людей, на события и говорил о них последнее слово. В свое время он изъездил и исходил пешком всю страну, избороздил все внутренние и внешние моря, перестрадал все войны и революции века, и эта книга была его последним путешествием за бессмертием своего прошлого. Разумно ли было бы прерывать его ради какой-то суетной поездки, да еще на стройку, обкатанную всеми литературными верхоглядами? Не сказал ли Шекспир, что время проходит, а с ним проходит и все временное?

Но отступать от своих слов уже не хотелось из упрямства. Он с удовольствием представил, как будут судачить о нем в кругу знакомых: сумасбродный старик... поддался поветрию... А он — нате вам! — привезет такую вещь, что все ахнут и, конечно, не найдут сказать ничего умнее, как о пресловутой «второй молодости».

И вдруг у него тревожно, сладко стукнуло сердце. Он не заметил, как встал, нащупал на столе под бумагами трубку и принялся набивать ее из палисандрового ларца, уминая табак вздрагивающими пальцами. Он знал эту тревогу. Она всегда приходила в момент счастливого озарения, когда жизненный опыт вдруг в какой-то критической точке своего накопления с мгновенностью взрыва становился замыслом новой вещи, еще неясной, расплывчатой, неуловимой в деталях, но определенной в целом. Именно это мгновенное превращение опыта он считал творчеством, а все остальное было черной работой. Она включала в себя поездки, ведение оказывающихся потом совершенно ненужными записей, четыре утренних и четыре вечерних часа над рукописью, перебелку ее на машинке и так далее до появления книги. В общем-то, тяжелая, нервная, на некоторых своих этапах нудная работа, которую и может оправдать лишь то исходное мгновение высшей радости.

Он раскурил трубку и снова сел в кресло напротив окна. Сердце у него продолжало

биться учащенно, мысль работала отрывочно и непоследовательно. Ему давно хотелось написать маленькую книгу о живых людях, которая, не будучи в строгом смысле ни повестью, ни романом, не следуя никаким литературным правилам, чтобы и в форме стать безыскусственной правдой, была бы просто открытием поэзии в самых обыкновенных сущих жизнях и вещах. Она долго существовала лишь как отдаленный пункт творческого плана, до которого, быть может, не успел бы дойти черед, и вот теперь вдруг как-то озарилась вся, став первой потребностью его духа, отодвинув все прочие замыслы в разряд очередных.

Как всегда, ему захотелось поделиться с кем-нибудь — не новым замыслом, конечно, а своей радостью: войти в столовую и, потирая вот так руки, сказать со сдержанной улыбкой: «Ну и вещицу я сейчас придумал — пальчики оближешь!» Но он вспомнил, что ему придется сказать и о предстоящей поездке как о деле уже решенном, и опять выслушать возражения, предостережения, увещевания, увидеть скорбно-обиженные лица, повлажневшие глаза, и радость его сразу погасла, уступив место прежнему раздражению.

Высокий, прямой, с откинутой назад головою, он спустился вниз, прошел через всю столовую к своему месту и, не вынимая изо рта трубку, сел за стол с таким вызывающе-сардоническим выражением лица, что все поняли: слова его о поездке не были пустыми словами.

Дымящаяся трубка окончательно не оставляла ни у кого ни малейшего сомнения в этом.

На стройке он поселился в длинном дощатом бараке молодежного общежития, где по распоряжению начальника строительства ему освободили просторную комнату с двумя окнами. Окна промыли с мелом. Он был рад, что у него есть пристанище, где он может спокойно отдохнуть, когда ему вздумается, потому что уже не надеялся на свои силы, но оказалось, что днем в комнате находиться невозможно. Окна открывать было нельзя из-за пыли, оранжево-бурой тучей наползавшей из котлована, а оттого, что их недавно промыли, в комнате к нестерпимой духоте прибавился еще нестерпимо резкий свет каленого степного заволжского солнца. Затем и ночи его стали лишены покоя.

Как это всегда бывает, люди, бок о бок живущие с великим человеком, постепенно привыкают замечать только внешнюю сторону его жизни, забывая о той сложной внутренней работе, которая постоянно совершается в нем, и видят рядом с собой лишь обыкновенного члена общества или семьи со всеми неудобствами его трудного характера. Комендант общежития вскоре решил, что один старик занимает недопустимо много места в переполненном бараке, и поселил к нему еще четырех студентов-журналистов, отгородив для него угол простынями, но среди журналистов оказалась девушка, и угол пришлось уступить ей.

Есть тоже приходилось кое-как. Желудок его уже не выдерживал тяжелой мучной пищи, а в столовых, не имевших холодильников, изо дня в день готовили вермишель: суп с вермишелью, вермишель с маслом, вермишель с сыром, вермишель с томатным соусом... Он покупал в передвижной лавке сушеные финики, насыпал их в полевую сумку, а потом ел где придется, запивая водой из бачка,— в прорабской, на земснаряде, в котловане.

Однажды знакомая боль тугим обручем опоясала ему сердце; он отошел за глыбы ссохшейся глины, сел, привалясь спиной к их острым выступам, стиснул зубы и закрыл глаза. Мимо, сотрясая землю, тяжело урча и воняя выхлопными газами, проходили многотонные самосвалы, и в сравнении с мощью этих тонн была как-то особенно обнажена перед болью беззащитная хрупкость сердца. Но случилось это в один из первых дней, а потом, высохнув и почернев на солнце, остро заблестев выцветшими глазами, он почувствовал ту одержимость, которая, знал по опыту прежних лет, даст ему силы вынести любые невзгоды. От прежней боли в сердце осталось лишь постоянное жжение, словно туда сунули горячие угли, но он решил забыть об этом.

Чем были наполнены его дни? Бывало, что всю ночь он проводил в котловане с рабочими ночной смены, но обычно, проснувшись утром, выходил на крыльцо барака курить трубку. В это время на верхушках дымчато-синей гряды Жигулевских гор золотисто и холодно сиял свет восходящего солнца. И все, что могло отражать на земле этот свет,— застывшая в утреннем безветрии Волга, окна поселковых домов, кремнистые дороги, отполированные о грунт ковши экскаваторов, выброшенные в кюветы банки из-под сгущенного молока — все тоже лилось и лучилось этим холодным золотом. Трубка приятно грела пальцы. Маленький сгусточек привычного тепла в кулаке давал сознание постоянства жизни, уверенности в себе и своих силах: «Мы еще поживем, черт побери, на этом свете!»

Когда он возвращался в комнату, журналисты, уже проснувшись, валялись на койках. Зеленые, наивные ребята, они в первые дни неустанно гонялись за каким-то «материалом», но будничная жизнь стройки с ее совещаниями, нормами выработки, лихорадкой всего ее огромного, еще не приработавшегося механизма ничего не давала им, и они приуныли. Ему доставляло удовольствие дразнить их своими рассказами, в которых та же самая жизнь, как только она соприкасалась с его мыслью, становилась именно тем «материалом», какой они столь тщетно искали.

Сев посреди комнаты на табурет, он спокойно, неторопливо, с иронической усмешкой в глазах начинал рассказывать, все равно о ком — о знаменитом экскаваторщике, о начальнике строительства, об официантке столовой, о маленьком сынишке уборщицы общежития,— и студенты, дивясь этой непостижимой магии таланта, озарявшей образы людей каким-то неожиданным светом, только до смешного по-детски разевали рты. Называя это утренней гимнастикой воли, он не щадил их самолюбия, говоря, что они ленивы, ненаблюдательны, неопытны и, вполне возможно, бездарны. Такая зарядка и впрямь возбуждала их поникшую волю. Они опять и опять кидались на поиски «материала», черкали что-то в своих записных книжках, рвали рукописи, строчили новые.

Про самих студентов он тоже мог бы многое рассказать. Ему нравился невысокий, крепкий, с неожиданно голубыми глазами на смуглом лице мальчик, который был как-то особенно ожесточенно восприимчив к своим неудачам. Однажды они сидели вместе на ящике из-под деталей шагающего экскаватора, жевали финики и, задрав головы, смотрели, как монтажники ловко карабкались по ажурным переплетам гигантской стрелы, вздыбленной высоко в небо. На конце ее, изорванный ветром, живым пламенем бился красный флаг. В обеденный перерыв пришли две конторские девушки и, хохоча, взвизгивая, ахая, тоже полезли на стрелу. Снизу были видны их толстенькие ножки и шелковые розовые штанишки.

— Полезем? — спросил он студента.

— Нет,— твердо сказал тот.

— Боитесь?

— Боюсь.

— Спасибо за то, что сказали правду.

Он поймал и стиснул его руку, любуясь чистым светом этих голубых глаз, румянцем смущения на детски тонкой коже щек.

Двое других изо всех сил старались казаться отчаянными нигилистами, ниспровергателями авторитетов, утонченными новаторами в искусстве. Но как очевидна была наносность их претензий, когда эти здоровые парни с выпирающими под майками мускулами, подрабатывая на обед, разгружали на пристани баржи, ели на рынке из кульков дикую малину, размазывая по губам багровый сок, приходили под окна конторы стройучастка глазеть на рыжеволосую красавицу машинистку!

Девушка, что жила в углу за простынями, была некрасива и от курносенькой, белобрысой, щупленькой некрасивости своей держалась надменно и холодно, всем видом как бы заявляя: «А вы и не нужны мне вовсе». Но однажды он видел ее на комсомольском собрании стройучастка, где выступал начальник строительства, говоривший о жилищных трудностях, о том, что молодоженам негде даже сыграть приличную свадьбу, что в тесных, пропыленных общежитиях невесте впору и за свадебный стол садиться в спецовке. «Но скоро, даю вам слово, мы восстановим высокое звание невесты»,— сказал он. И девушка, вдруг опустив свой блокнотик, в котором что-то быстро-быстро писала, просветленно, благодарно и восторженно посмотрела на оратора.

Дни не были похожи один на другой. Он мог уйти с утра в горы и, сидя где-нибудь на открытом всем ветрам камне, смотреть вниз на вспененную по гребням волн Волгу, на игрушечное движение крохотных с высоты машин в котловане, на безоблачную, выжженную до белесого цвета пустыню неба. Эта муравьиная суета людей внизу, в распадке древних гор, не казалась ему тщетной, а, наоборот, была исполнена для него великого смысла, потому что в итоге вела к совершенству человека. Он вспоминал сына уборщицы — мальчика с пеньковыми волосами и прекрасными глазами, который сказал ему однажды:

— Знаете, городов не будет...

— Когда?

— Ну, потом... в будущем. Когда мы научимся ездить с огромной скоростью, то построим по всей земле в сосновых борах и березовых рощах много маленьких поселков из стекла и белой пластмассы, а вокруг них будут синие озера.

— Кто рассказал тебе это? — спросил он.

Мальчик почему-то смутился и тихо ответил:

— Никто. Я сам...

Быть может, не так упрощенно, но, в сущности, и он мечтал о таких же белых поселках, населенных совершенными физически и духовно людьми.

«Воспарил, старик, воспарил»,— снисходительно посмеивался он над собой за эти мысли, но любил отдаваться им и думал, что, может быть, может быть, если хватит времени и силы воображения, он еще напишет книгу о том, как обычная сегодняшняя жизнь со всеми ее великими делами и мелкими дрязгами постепенно совершенствуется до воплощения их общей с тем синеглазым мальчиком мечты.

А бывало, что целый день он проводил в кабине экскаватора, где молча, сосредоточенно следил за работой экскаваторщика и вдруг быстро, словно украдкой, трогал теплые от прикосновения его рук рычаги управления. Что привлекло его в однообразном порхании этих рук по рычагам? Что хотел увидеть и понять он в почерке их движения? Трудно сказать, но день за днем упорно отдавал он этим наблюдениям, не замечая ни горячего маслянистого воздуха кабины, ни ее тошнотворного кружения из стороны в сторону, ни оглушающего рева моторов.

А потом, сидя утром на табурете в своей

Железный





комнате, рассказывал студентам, что экскаваторщик, чье имя всегда было связано с какими-то головокружительными процентами выработки, по натуре своей очень честолюбивый человек, что выдумал себе для журналистов романтически красивую биографию ударника-комсомольца, а сам попросту недоучившийся порхун по выгодным местам, который на гребне всенародного внимания к стройке хочет взмахнуть к достатку, почету и славе. Зато другой, столь же известный на стройке экскаваторщик, от которого журналисты могли добиться в лучшем случае даты его рождения, был настолько удручен шумихой, поднятой вокруг него, что тайно мечтал о возвращении к себе в Кузбасс, где работал раньше на открытой добыче угля.

— Откуда вы знаете, о чем он мечтает! — возмущались студенты.— Вы его спрашивали?

— Спросить можете вы, если не верите,— спокойно, с оттенком надменности отвечал он.— А я это и так знаю.

В один из редких на стройке общих дней отдыха он вместе со всеми был на острове, где среди хилой ивовой поросли гремело медью оркестра, лилось горячим пивом, пестрело разноцветными купальниками, сверкало водяными брызгами веселое гулянье. День был из тех, на которые так щедро степное заволжское лето. По низу дул палящий ветер, а в голубовато-сером, без единого облачка небе стояла оцепенелая знойная сонь. В ней невидимо зрели сухие трескучие грозы.

Его утомило солнце и шум сотен голосов, звучавших на ветру особенно гомонливо. Он ушел в дальний конец острова, связал гибким прутиком верхушку куста и, спрятав в него голову, лег на песок. Теперь отдаленный гомон был даже приятен, словно связывал этот его покойный уголок с большим кипучим миром, куда в любую минуту можно было снова перешагнуть, вот только отдохнув немножко, вот только прикрыв ненадолго уставшие от острого блеска песков и воды глаза.

Он проснулся под вечер. Во сне его все время беспокоила мысль о том, что нужно проснуться, иначе катер уйдет и оставит его на острове, но сон держал, как вязкая трясина. У него и раньше случались приступы этой болезненной сонливости, предупреждающие о чрезмерном утомлении, и теперь он с горечью отметил, что на сей раз предупреждение последовало слишком скоро.

По тишине, которая стояла в спокойном вечернем воздухе, можно было догадаться, что он остался на острове один. Он усмехнулся: вот так по-игрушечному сбылась наконец мечта его детства о необитаемом острове. Было в этом что-то подытоживающее всю жизнь, что-то замыкающее роковой круг ее начала и конца, и впервые с беспощадной откровенностью он признался себе в том, что сил его уже не хватит на ту работу, которая ждала его впереди. Это была спокойная, трезвая мысль, не отозвавшаяся ни отчаянием, ни смятением, а лишь досадой и нетерпеливым желанием скорей, немедленно взяться опять за дело.

С острова его сняла проходящая моторка, когда в успокоенном небе уже переливалась чистой каплей первая вечерняя звезда. А утром, как обычно, он стоял на крыльце барака с трубкой в руке и, щуря выцветшие глаза, смотрел, как с верхушек гор золотой лавиной стекает в синие туманные распадки свет нового солнца.

перстень

В Государственный исторический музей недавно принесли мужской железный перстень с гербовой печаткой, золоченный с внутренней стороны. Перстень, сделанный из кандалов, принадлежал декабристу Гавриилу Степановичу Батенькову, человеку страшной и героической судьбы. Подарила музею перстень Нина Анатольевна Лучшева, врач, дочь воспитанника Батенькова. В их семье свято чтят память декабриста и хранят его маленький предсмертный фотографический портрет.

28 декабря 1825 года, через две недели после восстания, Батеньков был на вечере у своего знакомого, вагенмейстера Соломки. Блистал остротами, сарказмами, «готовность его на ответы не имела равной... ученость его была замечательна». На смуглое, сухощавое лицо временами набегала тень, под очками в золотой оправе печалились огромные темные глаза. Вдруг сообщили: приехал фельдъегерь, и Батеньков сказал спокойно: «Господа! Прощайте, это за мной!» Его увезли. Мелькнули в последний раз тусклые огни зимнего Петербурга. 20 лет 1 месяц и 18 дней томился Гавриил Степанович в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловки. Правда, было и некоторое разнообразие: несколько месяцев в крепости Свартгольм. Батеньков не слышал человеческой речи, не видел неба. Двадцать лет ему давали читать лишь библию на разных языках. Поэт, архитектор, математик, герой 1812 года был заживо погребен в сыром каземате. Проходила жизнь...

Наконец Николай I «смилостивился», и как-то в февральскую вьюжную ночь 1846 года одинокого узника повезли в сибирскую ссылку. Конвоиру дали строжайшую инструкцию: «Во время пути никуда с ним не заезжать и не позволять ему отлучаться, наблюдать, чтобы он ни с кем не имел разговоров ни о своей жизни, ни даже о своем имени, равно и самому ему (конвоиру.— Н. Р.) уклоняться от всяких вопросов насчет препровождаемого арестанта».

Десять лет ссылки пережить было куда легче: рядом товарищи — ссыльные декабристы, петрашевцы, осужденные по процессу 1849 года. Батенькова любили. Жена декабриста С. Г. Волконского Мария Николаевна писала о нем: «...Он сохранил свое спокойствие, светлое настроение и неисчерпаемую доброту, прибавьте сюда силу воли, которую Вы в нем знаете, и Вы поймете цену этому замечательному человеку».

В 1856 году последовала амнистия по случаю коронации Александра II.

Последние годы Батеньков жил под Калугой и в Калуге, деятельно занимался вопросом освобождения крестьян, подготовкой реформы 1861 года. Человек редкого ума, благородства и эрудиции, он на всю жизнь остался верен своим политическим идеалам. Еще на следствии он сделал знаменитое заявление: «Тайное общество наше отнюдь не было крамольным, но политическим. Оно, выключая разве немногих, состояло из людей, коими Россия всегда будет гордиться. Ежели только возможно, я имею полное право и готовность разделить с членами его все, не выключая ничего». И Гавриил Степанович стойко вынес тяжесть страшной кары, сохранил верность своим взглядам.

Н. РАБКИНА,
научный сотрудник Государственного исторического музея

Драгоценный узелок

Около 20 лет назад у горного армянского селения Сарнакунк был обнаружен редчайший клад: 174 античные серебряные монеты. Ценители древностей обрадовались богатой находке. Однако было высказано предположение, что клад неполон. Недавно и весьма неожиданно это предположение подтвердилось: коллекция пополнилась 176 хорошо сохранившимися редкими серебряными монетами. Государственному историческому музею республики их передал С. Г. Бархударян, житель Гориса.

Любопытна история этого собрания древнейших монет. Однажды к известному горисскому мастеру серебряных дел Грикору Бархударяну пришла крестьянка из села Сарнакунк, попросила сделать для нее серебряный пояс. Она развязала принесенный с собой узелок, и глазам мастера предстала груда необычных монет. Ювелир сразу же определил их историческую ценность. Заказ он выполнил, но только из своего материала, а древние монеты сохранил. После смерти мастера его жена и сыновья решили передать их государству.

Теперь в историческом музее Армении собраны 350 античных монет из Сарнакунка, чеканки II—I веков до нашей эры.

— Если бы столько денег попало в руки жителя древней Парфии, Армении, Каппадокии или Рима, то он стал бы одним из состоятельных граждан своей страны,— шутит сотрудник музея.

Да, клад действительно богатый, настоящий праздник для нумизматов. Здесь представлены селевкидские тетрадрахмы Александра Балы, Антиоха VII, Димитрия II Никатора; парфянские драхмы; армянские драхмы Тиграна II Великого и его наследника; тетрадрахмы финикийских городов Тира, Сидона, Арада, а также малазийского города Пергама. Прекрасно сохранился и единственный экземпляр тетрадрахмы царя Понта — Митридата VI Евпатора, датированной 226 годом понтийского летосчисления — эта дата соответствует 72 году I века до нашей эры.

Основную часть клада — более 200 штук — составляют монеты Древнего Рима. Все они относятся к эпохе республики, начиная с конца II века до нашей эры.

Гр. БАГРАЗЯН



Старт дан. Фото А. Бочинина.

Дорогая редакция!
Пишет вам ученица Прикумской средней школы № 5 Заикина Валя. И вы не удивляйтесь, что я написала именно сюда. Я читала в вашем журнале о Янисе Лусисе. И я думаю, вы удовлетворите мою просьбу, напечатаете в журнале «Огонек» о Галине Поповой. Я хочу, чтобы вы напечатали о ее жизни. Куда она поступала, чтобы стать спортсменкой? Я очень увлекаюсь спортом. И больше всего люблю бегать. Я хочу быть такой, как Галина Попова.
До свидания!

В. ЗАИКИНА

Л. БОРОДИНА,
мастер спорта

И для Гали Поповой и для Таи Ченчик все то лето было очень напряженным: старты на Универсиаде в Бразилии, матч СССР — США, III Спартакиада народов. И вот сезон окончен, за окном зима. Но завтра они улетают туда, где снега нет и в помине, где цветут розы и плещутся волны. Они улетают на остров Свободы. Там их ждут не официальные соревнования. Они едут с другой целью: поделиться опытом с кубинскими друзьями.

На Кубе, в городе Санта-Клара, в одной из совместных тренировок участвовал любимец кубинцев, спринтер с мировым именем Энрике Фигерола. Прошедшим летом в беге на 100 метров он буквально не знал поражений. Это не мешало ему с интересом наблюдать за тренировкой Галины Поповой. И Галя старательно помогала Энрике. А тут проходившая мимо Ченчик как бы невзначай бросила в ее сторону:

— Смотри, Галка, разучишь Фигеролу быстро бегать!

Галина вспыхнула, видно, хотела сказать в ответ что-то. А потом вдруг подмигнула Тае.

— Ведешь один — ноль!

«Ведешь один — ноль!» Первый раз Галина услышала эту фразу в 1955 году, когда побила мировой рекорд в прыжках в длину. Первое время было как-то непривычно видеть в таблице мировых рекордов свою фамилию и рядом с ней цифры «6 м 31 см».

Тогда многие думали, что молодая прыгунья внесет еще не одну поправку в таблицу рекордов. Но их ждало разочарование: Галя вдруг охладела к прыжкам.

Еще до того, как Попова стала рекордсменкой мира, она как-то на соревнованиях не дотянула до рекорда одного сантиметра. Тренер был огорчен, а Галина смеялась. «Даже хорошо, что я рекорда не установила. По крайней мере у меня цель осталась...» Многие тогда не поверили в искренность ее слов. Но произошло именно так: побила рекорд, достигла цели — и интерес к длине у нее сразу пропал.

А тут еще на чемпионате страны 1955 года Галина победила в беге на 100 метров. Прыгунья в длину — и вдруг выиграла спринт! Все считали это просто счастливой случайностью.

Галя усмехнулась:

— Ну и пусть так думают!

А на следующий год, на I Спартакиаде народов СССР, Попова установила в беге на 100 метров рекорд страны — 11,5 секунды.

Тогда самые закоренелые скептики только развели руками: мол, Попова может выкинуть что угодно. А Галя вдруг поняла, что она рождена не для прыжков, а для бега на короткие дистанции, что побороть в себе этот азарт борьбы она уже не сможет.

Говорили о больших потенциальных возможностях Галины в беге, о том, что она может претендовать в Мельбурне на золотую олимпийскую медаль. И в первом же забеге на далекой австралийской земле Галя сделала неплохую заявку на этот почетный приз. Ее результат — 11,5 — был лучшим среди всех участниц. Но на следующий день неожиданный приступ радикулита приковал Галину к постели, в полуфинале она не смогла даже выйти на старт.

— Ох, и обидно же было! — вспоминает Галина.— Но тут хоть лопни от злости, а делу не поможешь. Не умирать же с горя! Помню, девочки меня успокаивают, а я думаю: «Ничего, эти Олимпийские игры для меня не последние. Вот на следующих я покажу!»

Наверное, в таком вот оптимистическом отношении к жизни и кроется секрет спортивного долголетия нашей «королевы беговой дорожки».

Но однажды от ее могучего оптимизма не осталось и следа.

Это произошло летом 1952 года. Накануне каких-то больших соревнований Маша Иткина, которая жила с Галей (тогда она еще была Виноградовой) в одной комнате, вдруг заметила, что с ней творится что-то неладное. Тает девчонка на глазах, потеряла сон и аппетит, а в чем дело, никто понять не может.

Она чистосердечно призналась Маше:

— Кажется, я влюбилась... Знаешь барьериста Сергея Попова?.. А он меня даже не замечает...

Два года спустя Галина Виноградова стала Галиной Поповой. Свадьба москвички и ленинградца проходила на нейтральной почве — в Киеве — сразу же после окончания первенства страны 1954 года. В тот год Галина впервые выполнила норму мастера в прыжках в длину и завоевала на чемпионате страны серебряную медаль. А в барьерном беге серебряным медалистом стал Сергей. Сколько тостов было поднято тогда за счастье молодоженов, за их будущие спортивные успехи! «Серебряной паре» желали счастливой жизни и золотых медалей. Так Галина и сделала: на следующий год стала рекордсменкой мира.

Конечно, выигрывала Галина не всегда. Есть и у нее нервы, о которых иногда говорят — подвели. После мельбурнского срыва ее стали преследовать неудачи. Ей так хотелось хорошо подготовиться к чемпионату Европы 1958 года! Зимой она много занималась со штангой («Тогда это было модно»,— комментирует Галина). Много бегала по глубокому снегу («Тоже было модно!»). И в результате — порвала мышцу и не попала в Стокгольм.

Вместе с тренером — Дмитрием Павловичем Ионовым — решили в корне изменить систему тренировок. Чтобы быстрее бегать, надо все-таки больше бегать. И еще пришли к выводу, что вспомогательные средства тренировки должны быть очень разумными. И в 1959 году Галина побежала. Побежала так, что стали говорить о втором рождении 27-летней спортсменки. И действительно, Галина стала героиней II Спартакиады народов СССР. Она завоевала там три золотых медали!

Каждый старт в том сезоне приносил ей победу. Попав в полосу высоких результатов, она словно не могла остановиться. И все же нашелся человек, который остановил победное шествие Галины. Он не был ее соперником: это был ее сын Димка, который родился в мае 1960 олимпийского года. Вот почему Поповой не было в олимпийской сборной, которая уезжала в Рим. (А она-то еще в Мельбурне мечтала о том, как будет выступать на следующей олимпиаде!)

Подруги и соперницы брали олимпийские старты, а у Гали были свои заботы... Малыш в первые месяцы после рождения был очень беспокойным. Совсем не давал спать. И потом оставлять его было не с кем. Дежурили около него с Сергеем по очереди. А тут еще государственные экзамены в институте. Ох, и доставалось тогда Галине! Разве с малышом много выучишь? А главное,— видимо, из-за переутомления — она впала в



Сергей и Галина Поповы.

Фото Н. Ананьева.

какое-то странное состояние. Ее преследовал страх, постоянная тревога за сына. Ей все время казалось, что с ним обязательно что-нибудь должно случиться.

...Жизнь входила в обычную колею. Теперь на тренировки они иногда ходили втроем. Постепенно Галя обретала спортивную форму. Выступать после перерыва она начала неуверенно, как бы с оглядкой. Мало кто верил, что она вновь сможет стать той грозной Поповой, которую невозможно победить. Но летом 1963 года она опять заявила о себе во весь голос. И тогда стали говорить о третьем рождении Галины Поповой. И так как это был год Третьей Спартакиады, то все говорили, что Попова рождается каждую Спартакиаду.

На III Спартакиаде она завоевала три золотых медали.

«Здравствуйте, Галина! Простите, что мы Вас так называем. Но Вы так молодо выглядите, что назвать вас Галиной не такой уж большой грех,— писали Поповой после ее победы одиннадцатиклассницы одной из школ подмосковного города Красногорска.— У нас вся секция буквально бредит Вами. Глядя на Вас, нельзя не восхищаться. Походка у Вас такая, что на трибунах зрители шутят: «Попова даже при ходьбе стопу развивает». А как Вы бежите! Как Вы добились такого сочетания скорости и техники? Только ли благодаря беговым упражнениям?

...Напишите, пожалуйста, о себе, о Вашей семье, о том, как Вы тренируетесь. Почему Вы сейчас не прыгаете в длину? И еще напишите, какое у Вас самое заветное желание.

Впереди — Токио. И только чудо лишит Вас медали!»

Что ж, вместе с юными спортсменками будем надеяться, что этого в Токио не случится. А планы у Галины большие. И в спорте и в учебе. Сейчас аспирантку Ленинградского института имени Лесгафта можно часто увидеть в лаборатории физиологии. «Насыщение крови кислородом (оксигинация) в процессе тренировки» — на эту тему Галина собирает материал для будущей диссертации.

Почему ее интересует именно этот вопрос? Потому что она убеждена, что результаты ее исследований могут принести большую пользу спортсменам. Первым этой темы коснулся Сергей (он работает на кафедре спортивной медицины). А Галина уже тогда фактически была его соавтором. Вместе они разрабатывали методы исследования, вместе испытывали приборы. Эти приборы иногда вдруг показывали: у Галины плохая восстанавливаемость сил. Снижали нагрузку в тренировках — и все приходило в норму. Так что Галина на себе почувствовала, как важны для спортсменов эти исследования.

— Сейчас Сергей ведет научную работу совсем по другому профилю. А мне очень хочется развить дальше его исследования продолжить его работу,— говорит Галина.

— Это и есть, наверное, твое самое заветное желание?— вспоминаю я вопрос, заданный в письме.

Галя отрицательно качает головой.

— Нет, не угадала. Знаешь, чего мне больше всего хочется? Увидеть Димку олимпийским чемпионом!



«ОЧЕНЬ ХОРОШО! ОЧЕНЬ СПАСИБО!»

В. ВЛАДИМИРОВ

Сто лет назад путешествовал по России — то в вагоне, то в бричке, то в санях, то на пароходе — Айра Олдридж, первый в мире негр-актер, выступивший на европейской сцене в ролях Отелло, Лира, Шейлока и Макбета. Его видели в Нижнем Новгороде, Саратове, Тамбове, Ставрополе, Киеве, Житомире, Одессе, Харькове и, конечно, в Петербурге и Москве.

Олдридж родился в Соединенных Штатах Америки. Анонимная «Памятная записка о театральной карьере Айры Олдриджа», напечатанная в Лондоне в 1849 году, сообщает, что слуга актера Уоллека, носивший костюмы хозяина в нью-йоркский театр, внезапно умер от желтой лихорадки; его место занял мальчик из числа театральных болельщиков. Так Айра Олдридж проник за театральные кулисы.

Но театр, в котором играли негры, не мог долго продержаться в стране рабства. Однажды вечером актеры вынуждены были бежать через боковой выход, спасаясь от толпы хулиганов, которые, ворвавшись в театр с воплем «Долой черномазых!», разгромили и подожгли помещение.

До сих пор многие американцы имеют самое смутное представление о том, кто такой был их соотечественник Айра Олдридж. «Американская энциклопедия» посвятила ему лишь несколько строк; сообщаются данные о его происхождении, приводится список ролей, указывается, что Олдридж имел успех в Европе и умер в 1867 году. Больше ничего! Его биография как бы обрывается в 1858 году — это год его появления в России. «Британская энциклопедия» вообще обошла имя актера глубоким молчанием. И не удивительно. Если Олдридж вынужден был уехать из Америки в Англию, потому что в США негр-актер рисковал своей жизнью, то в Англии он мог быть уверен лишь в том, что его не изобьют в театре или на улице.

Пока Олдридж играл Отелло, к нему относились снисходительно, как к экзотическому курьезу: «Подумайте, роль Отелло играет настоящий негр!» Пресса отмечала главным образом африканские черты актера и сравнительно вяло оценивала его сценические качества. Но когда Олдридж попытался выступить в «белых» ролях, особенно в ролях шекспировских, тон газет изменился. «Этот человек, кажется, основывает свое вдохновение на цвете своей кожи,— писала одна из газет,— и думает, что если природа сделала из него Отелло, то ему остается только выкрасить лицо, чтобы превратиться в Ромео»...

Прошло несколько лет, и Олдридж понял, что в Англии ему суждено довольствоваться только ролями негров. Он же хотел играть разные шекспировские роли. И ему пришлось уехать из Англии.

...Осень 1858 года. Занавес Александринского театра в Петербурге уходит ввысь. На сцене Отелло — Олдридж, то величественный и мудрый, то обуреваемый неподдельной страстью, то вконец уничтоженный и отчаявшийся.

В Петербурге не раз видели Отелло — Каратыгина, талантливого актера классической школы. Отелло — Олдридж ничем не был на него похож. Он вел себя на сцене, как страдающий человек со всеми человеческими достоинствами и недостатками. Зал Александринского театра замер в ужасе, когда в сцене, предшествующей убийству Дездемоны, увидел обманутого и оскорбленного мавра, который не может стоять на ногах и грузно садится на табурет у постели жены. Он не знает, куда девать руки. Он тяжко страдает от необходимости продолжать допрос жены. «Поздно! Поздно!» — рычит он. В конце трагедии на весь театр гремит его отчаянный вопль: «О Дездемона! Мертва! Мертва!»

Олдридж играл с немецкой труппой. Русские зрители с трудом понимали спектакль на двух иностранных языках (немецком и английском) и тем не менее уходили из театра потрясенные. Прогрессивная печать восторженно встретила Олдриджа. Панаев посвятил ему длинную статью в «Современнике». «Все мелочные недостатки,— пишет Панаев,— забываются, сглаживаются и уничтожаются тою внутреннею силою, тем священным огнем, которые заключены в груди его. Этот огонь и эта внутренняя сила делают из него первоклассного артиста».

Для русской революционной демократии реалистические переживания человека на сцене были символом новой жизни, ломающей оковы всего старого и косного. Олдридж в этом образе говорил и о возмущенном достоинстве человека, которого оскорбляют и обманывают потому, что он «цветной». Это происходило в эпоху, когда в Америке шла борьба за освобождение негров. Не удивительно, что первым другом Олдриджа в Петербурге стал Тарас Шевченко.

30 января 1858 года великий украинский поэт получил записку от графини Толстой: «Тарас Григорьевич, прошу вас, приходите завтра между 7 и 8-ью часами вечера. Айра Олдридж будет читать из Шекспира». Шевченко явился, Олдридж встретил его с распростертыми объятиями. Негритянский трагик знал уже историю страданий Шевченко и выкупа его из неволи. Дочь Толстых рассказала поэту биографию Олдриджа, и два угнетенных человека стали друзьями, не зная языка друг друга. Шевченко нарисовал карандашом портрет Олдриджа, хранящийся в Третьяковской галерее.

Шевченко рисовал, а Олдридж пел негритянские песни. Художник, улыбаясь, отбросил карандаш и стал подтягивать гостю. Петербургская гостиная оглашалась то мелодиями американских плантаций, то «Чому ж я не сокіл...»

Шевченко писал в Москву М. С. Щепкину: «У нас теперь африканский актер чудеса выделывает на сцене. Живого Шекспира показывает. Не знаю, поедет ли он к вам...»

Олдридж приехал в древнюю столицу в 1862 году. Актер был встречен овацией общества и весьма настороженным отношением цензуры, которая боялась таких шекспировских персонажей, как король-убийца Макбет, король-безумец Лир и полководец-мавр Отелло. Сама манера игры Олдриджа слишком волновала публику, в особенности молодежь.

Выступал Олдридж в Малом театре. Его успел увидеть в «Отелло» за год до смерти гениальный Щепкин. Олдридж побывал у Щепкина: ему хотелось услышать критические замечания Михаила Семеновича о своей игре. Щепкин назвал Олдриджа «человеком с огромным дарованием», но тут же забраковал сцену встречи Дездемоны с Отелло на Кипре. «Когда привезшая его галера останавливается у берега,— быстро говорил Щепкин,— и Дездемона ступает на землю, Олдридж спокойно и величественно идет ей навстречу, подает ей руку и выводит на авансцену. Разве это возможно?! Он забывает, что Отелло — мавр, что в нем льется и кипит южная, горячая кровь, что он давно не видел жены... и вот она перед ним — одновременно предмет и обожания и вожделения... да ему вся кровь должна ударить в сердце, он должен броситься к ней, как зверь, забыв все окружающее, схватить ее, смять в своих объятиях, принести на авансцену и только тут вспомнить, что он военачальник». Дряхлый и больной Щепкин так разгорячился, что вскочил со стула. Олдридж улыбнулся и наклонил голову в знак согласия. В дальнейшем он играл так, как советовал Щепкин.

В Москве же произошла курьезная встреча Олдриджа с Провом Садовским в «Артистическом кружке». Актер Стахович вспоминал впоследствии: «Пров Михайлович рассказывал мне про оригинальный ужин с африканским трагиком, на котором они, солидно выпив, с чувством пожимали друг другу руки, лобызались и вели долго оживленную беседу, не понимая друг друга». После этого ужина Садовского спросили, как ему понравился Олдридж. «Человек хороший,— твердо отвечал Садовский,— доброй души и, главное, не болтлив. Это мне нравится...»

После Москвы начались длительные поездки Олдриджа по России. Известный ветеран русского театра В. Н. Давыдов рассказал, что «играть ему с нашими актерами было трудно. Но он терпеливо, через переводчика, делал указания, давал советы и, когда все шло гладко, радовался, как ребенок, хлопал себя по бедрам и добродушно говорил: «Очень хорошо! Очень спасибо!»

В Тамбове Олдридж играл «Макбета» с любительской труппой, и, по словам очевидцев, это было лучше, чем с актерами. Но цензурные придирки преследовали его на всем пути. «Макбет» был разрешен в Москве, но запрещен в губерниях. Приходилось идти на уловки: ставить «Макбета» в конце программы под другим названием и уезжать в другой город сразу же после представления.

Бушующие аплодисментами театральные райки; хлеб-соль на расшитых полотенцах, подносимая вначале поклонниками, и адреса в стихах, подносимые товарищами-актерами; ожесточенная полемика между прогрессивными и реакционными журналами, испуганные лица провинциальных полицмейстеров; леса, степи, волжские и черноморские просторы — все это сопровождало замечательного актера в пути по огромной стране, которая вначале казалась холодной и загадочной, а оказалась горячей и сердечной...

Олдридж поехал на гастроли, но в Лодзи заболел.

Вот документ, составленный на польском языке в лодзинской ратуше: «В Лодзи восьмого августа года тысяча восемьсот шестьдесят седьмого в десять часов утра явился Аугуст Геншель, содержатель гостиницы, 33 лет от роду, и Аугуст Михель, пономарь, 49 лет, оба уроженцы сего города, и известили, что Айра Фредерик Олдридж, драматический артист, временно проживающий в Лодзи, скончался в пять часов утра...»

Олдридж лег в польскую землю. Могила его сохранилась.



Олдридж в роли Отелло. Фотография с дарственной надписью М. С. Щепкину.





ТРОЕ И УРАГАН

О. КУПРИН

Полевой сезон кончился. Последний раз погрузили в лодку нехитрые геологические пожитки. Теперь в Усть-Юрибей, оттуда вертолетом на базу — и домой, в Ленинград.

У руля на корме — Николай. Посредине лодки на спальном мешке примостилась Марина — начальник отряда. На носу — Жора. Вот и весь отряд. Коля молчит — это в порядке вещей. Марина тоже молчит — случай если не исключительный, то редкий. Жора без конца тянет осточертевшую всем за лето песню про то, как тихо лаяли собаки и как он, Жора, куда-то заявился в черном фраке, элегантный, как рояль. На Жоре, как и на всех, грубый парусиновый плащ, резиновые болотные сапоги.

— Уймешься ты когда-нибудь? — не выдерживает начальство — Марина.

Жора умолкает.

Плывут дальше. Ветер попутный. Скорость что надо. Марина бросает руку в воду, но тут же отдергивает. Карское море с Черным не спутаешь.

— Не дай бог, мальчики, перевернуться где ненароком. Не знаю, как вы, а я топориком на дно, и поминай, как звали геоморфолога Марину Картавову. Водичка полярная. Обжигает.

— Геоморфолог... Элегантный, как рояль,— машинально бубнит Жора.

— Опять,— вздыхает Николай.

— Опять,— повторяет Марина, но это уже не относится к Жориному репертуару.

Это про себя. Отработала еще один полевой сезон, как полтора десятка предыдущих. Будущим летом опять экспедиция. Опять маршруты по болотам, опять комары и другая нечисть. И так из года в год, из года в год. Должно быть, в этом есть какой-то смысл. Марина устала за лето. Побережье Байдарацкой губы—для прогулок место совсем неподходящее.

Переменился ветер. Парус пришлось убрать. В борт начали лупить волны, сначала слабо, затем сильней и сильней. Лодку заметно сносило к берегу. Поставили ее под углом к волне — скорость упала. Этак и к вечеру не доберешься до фактории.

Ветер крепче. Море забелело седыми хохолками гребешков.

— Море ведет себя неприлично. Коля, крути к берегу!— скомандовала Марина.— Поищем местечко повыше, холмик какой-нибудь.

Такое местечко наконец нашли. Моторную лодку поставили на якорь попрочнее. Ребята с трудом раскинули палатку, ветер играл ею с редким азартом. В палатку притащили продукты, спальные мешки и персональную раскладушку для начальства: Марина любит комфорт.

— Жора, давай-ка сюда и лодку,— приказывает начальство,— резиновую...

— Это еще зачем? Всегда оставляли в моторке, а сейчас...

— На всякий случай.

Жора вернулся мокрый. Бросил на пол рюкзак с резиновой лодкой. По палатке барабанил дождь.

Стемнело. Дождь прекратился, но ветер только набирал силу. Коля застегнул парусиновый плащ на все пуговицы и молча вылез из палатки. Через минуту за стенкой послышались глухие удары. Вышла и Марина. Коля поглубже забивал колышки для растяжки палатки. Темнота — глаз выколи.

— Не нравится мне все это! — кричала Марина в Колино ухо. — Давай ракетницу. Посмотрим, что к чему.

С шипением взвилась вверх ракета. Подхваченная ветром, она летела над морем, освещала палатку и три темные фигуры на маленьком островке. Земля отступила.

— Лодка...— проговорил Жора так, словно делал величайшее открытие. Он тоже вылез из палатки.

Снова взлетела ракета, и теперь все трое смотрели в сторону моря. Оттуда на них шли гривастые валы, они опрокидывались там, где час назад была кромка берегового обрыва, и гасли, разбрасывая по гладкой воде мимолетные кружева пены. Лодки не было видно. Да и глупо было думать, что маленький якоришко устоит перед буйством Карского моря.

— Ждать нельзя! — кричит Марина ребятам.— Надо выходить. Берем спальные мешки, резиновую лодку, немного продуктов. Поищем сушу. Сейчас волны доберутся сюда.

Она привязала на шею планшет с результатами исследований, бинокль, взятый напрокат на фактории, и шагнула в воду.

— Давайте я первый! — Коля обогнал своего начальника.

Сначала было мелко, постепенно вода дошла до колен. Шли гуськом, медленно. Марина держалась за рюкзак, который нес Коля. Жорина рука лежала у нее на плече. В такой кромешной тьме потерять друг друга — пустяки. Особенно Марину беспокоил Жора: молодой все-таки. Коля — человек тертый. Не такое видел, ленинградскую блокаду пережил, коммунист.

Рюкзак впереди неожиданно подпрыгнул и тут же ухнул куда-то вниз.

— Провалился,— раздалось у самых ног.— Должно быть, озеро. Перейдем? А?

— Пошли.

Один шаг — и Марина по пояс погрузилась в воду. По телу словно прошел электрический заряд. Холод. Еще шаг. Сзади крякнул Жора. Не сказал ни слова. Рюкзак впереди тянет за собой. Вот он резко взметнулся вверх, рука скользнула по мокрому плащу. Значит, озеро перешли. Теперь опять недавняя суша. Вода по колено, идти легко. Надолго ли? Впереди сотни озер.

— Коля, давай еще ракету.

Пока сияло над головой крошечное солнышко, геологи увидели позади себя палатку, наполовину ушедшую под воду, воду налево, воду направо, воду впереди.

Но где-то должна же быть земля? И они идут, проваливаются в новые озера, с трудом вытаскивают окоченевшие ноги из илистого дна, и каждая ракета убеждает, что их водяная дорога уходит очень далеко.

Идут полчаса, час, полтора. Вода опять по пояс. Но это уже не озеро. Это наступает море. Ветер неистовствует, в спину бьют небольшие волны.

— Стоп! — командует Марина.— Дальше идти бессмысленно. Пока не поздно, надувайте лодку.

Ребята на ощупь расстилают одноместную резиновую лодку и быстро, в два клапана надувают последнюю утлую спасительницу. Марина вцепилась в шестижильный капроновый шнур, опоясывающий лодку,— если ветер и вздумает унести суденышко, так только вместе с ней, с Мариной.

— Ребята! Слушайте внимательно,— начинает Марина последний инструктаж, когда лодка уже надута.— До конца вместе! Ясно? Хватаемся с трех сторон за этот шнур. Будем плавать, пока есть силы. Коля! Ракету! Последнюю! Не промокли они у тебя?

— Как промокли? — отвечает Николай и достает из-за пазухи ракетницу — у него всегда все в порядке.— Какую? Сигнальную, красную?

— Все равно. Никто, кроме нас, ее не увидит.

В темное небо взмывает зеленая ракета. Марина последний раз смотрит на часы — половина двенадцатого. Говорят, зеленый цвет — цвет надежды. А вокруг море. Море без конца и края. Опять по телу проскакивает страшная молния холода. Третий вал... Десятый... Ноги повисают. Дна нет.

Лоция Карского моря предупреждает: температура поверхности воды в Байдарацкой губе в августе +6,1 градуса, в сентябре на градус холоднее.

Это смерть через час, в лучшем случае через полтора. Медикам лучше знать. Море со свирепой злобой исполняет свои погребальные обязанности. Это Карское море.

Четыреста с лишним лет назад английские купцы хотели пройти здесь. В Баренцовом море погибла их первая экспедиция. Другие закончили свои искания на дне Карского...

Многометровая волна накрывает своей холодной толщей и лодку и людей. Руки мертвой хваткой держат капроновый трос, одежда пропиталась жгучей водой и тянет вниз. В кромешной тьме не видно даже силуэтов друзей. Кричать, чтобы дать им знать, что ты жив, не имеет смысла: разве победит человеческий голос грохот моря? Люди кажутся маленькими и беспомощными среди этой сумасшедшей пляски жестоких и холодных морских исполинов, которые, словно по какой-то непонятной случайности, пока еще не раздавили их своими громадами, не сковали ледяным оцепенением их волю.

Жора, напрягая последние силы, отрывает одну руку от троса, шарит в мокрой темноте — может быть, кто-то из друзей рядом? Нет... Знал бы он шесть лет назад, что так обернется дело, ни за что не подал бы заявления. А было вот что. Прошла всего неделя, как он, Георгий Владимиров, получил паспорт. Тогда-то Жора и написал заявление, просил принять его в геологическую партию на летний сезон. Бродячая жизнь. Дальние страны. Романтика. Удивительные

Н. Федосов. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКА.

А. Тутунов. В РЫБАЦКОЙ СЛОБОДКЕ.

У. Тансыкбаев. ЮСУП-ХАНА.

П. Оссовский. ВЕЛОСИПЕДИСТ.

приключения. Знал бы он тогда, что так обернется дело,— не подал бы заявления. Слишком опасная это романтика и опасные приключения.

Как давно это было!.. Может, и не Жора это был вовсе. Все другое. Даже паспорт уже не тот, выдали новый. Не романтика и не приключения позвали его опять в экспедицию и в этом году — просто интересная работа, призвание...

Лодка резко падает вниз. Значит, идет стеной еще один крутой вал, взобраться на его вершину не удастся. Жора чувствует, знает: вот многометровая стена не выдерживает собственной тяжести и опрокидывает свою вершину, образуя страшный вопросительный знак. «Неужели мы еще живы?»

На голову обрушивается, должно быть, несколько тонн. Водоворот забрасывает ноги вверх, и уже непонятно, где небо и где земля. Чудовищная сила тянет в сторону, отрывает от лодки, и пальцы вот-вот разожмутся и выпустят капроновый трос. Тогда останется он совсем один. Тогда смерть.

Через мгновение опять ветер лупит по мокрым щекам. Как хорошо дышать этим взбесившимся воздухом! Жора вдыхает его полную грудь, мокрого, холодного, соленого. Жив! Лодка карабкается на другую волну, поменьше. И неожиданно приходит простая и радостная мысль: если бы он был один, то легкая лодка не раз прыгнула бы ему на голову. Но суденышко плавает устойчиво. Значит, на противоположном борту вот так же держатся за шнур друзья. Значит, вместе. Рядом.

Только смерть у каждого своя, а по-человечески живут люди чем-нибудь общим — целью, делом. Цель должна быть обязательно большая: найти нефть, вырастить хороший урожай или запустить космический корабль. Дела — непременно трудными, иначе какой в них толк. Потому-то такая дорогая штука жизнь, что не только она твоя. Эту азбуку Жора освоил за последние годы, когда токарил на заводе, бродил по земле с геологами, служил в армии.

Новая волна захлестывает в мертвую петлю лодчонку. Марину отрывает от троса, проносит подо дном лодки... Плыть мешают планшет с документами и бинокль, крепко привязанные на шее. Лодка где-то поблизости, но через минуту ее отбросит в сторону. Все решают секунды.

К этому, впрочем, не привыкать. Многое она решала в считанные секунды. Такова профессия геолога, неожиданности могут быть на каждом шагу. Сколько их было в жизни? И сколько раз они грозили гибелью? Секунды, секунды... Курилы, Нарьян-Мар, Камчатка, Кольский — там ее помнят, там кое-что сделано. И неплохо как будто сделано. Всю жизнь торопилась и так много не успела. Жалко. Родителей жалко. Колю с Жорой жалко. Семьи, детей нет — жалко. Планшет, что болтается на груди... Там в целлофане результаты всего сезона...

Откуда только взялись силы? Марина колотит по воде руками и ногами, но продвижения почти никакого. Она чувствует, что лодка совсем близко. Где — не видно, темно. Вдруг чья-то рука хватает за капюшон плаща, и Марина ударяется головой во что-то мягкое. Лодка! Еще одно усилие — схватиться за трос. Есть. И, кажется, все на месте, планшет и бинокль целы. Только одна нога стала легче другой. Так и есть: слетел сапог. Кто же это успел подтянуть ее? Наверно, Жора.

У Коли своя беда: длинная веревка, привязанная к лодке и предназначавшаяся для переправ через озера, размоталась, и теперь волны превратили ее в длинного извивающегося морского удава. Сначала новоявленное чудовище, словно играя, хлестало Колю по лицу. Отодвинуться в сторону нельзя: тогда лодка потеряет равновесие и перевернется. Коля пытался поймать веревку. Поймал. Но она в какие-то несколько секунд опутала ему в воде ноги. Как тяжело теперь рукам. Спутанное тело висит на них недвижным грузом...

Постепенно мрак начинает рассеиваться. Марина ясно видит, как над бортом лодки скачут два треугольных силуэта — островерхие капюшоны плащей. Начинается рассвет. Волны до сих пор не сбросили белых косматых шапок и продолжают играть легким суденышком. Вверх—вниз, вверх—вниз.

Ноги словно ударились обо что-то плотное. Еще вал. Вверх—вниз. Опять удар, посильнее, потверже. Неужто дно? Марина повыше подтягивается на руках, чтобы подняться над бортом, и что есть силы кричит:

— Дно-о-о!.. Ребята! Дно-о-о!

— Там что-то чернеет!— Жора протягивает руку куда-то поверх убегающих волн.— Берег...

Волны снова захлестывают их с головой. И наконец одна, большая, высокая, бросает на мокрый берег и отбегает торопливо.

Земля... Наконец-то... Часы стоят. Сколько же прошло времени? Часа четыре. Может, пять. Марина, шатаясь, делает шаг, другой, третий. Ветер тысячами ледяных веретен сверлит тело, толкает вперед, вперед, вперед. Но ноги не слушаются. Марина валится навзничь на дно резиновой лодки. Рядом в лужу падают Коля и Жора. Лежат молча и смотрят в небо. Рассвело. Тяжелые облака пролетают над ними. Хочется закрыть глаза и заснуть, чтобы увидеть какой-нибудь теплый-теплый сон — жаркую пустыню или хотя бы печку-буржуйку на базе в Салехарде.

— Надо идти,— говорит Марина, зная, что сил хватит только на то, чтобы подняться и сделать один-два шага.

«Да...» «Надо...»

И они идут. Снова гуськом. Марина ковыляет в одном сапоге. Слева неустанно грохочет море. Ветер толкает вправо. Но вправо идти нельзя: в тундре ничего не стоит заблудиться. Компас утонул, солнце по-прежнему закрыто темными тучами.

— Лодка! Наша лодка! — Это кричит Жора.

И правда, у самой кромки прибоя их лодка. Видно, ее только что, как их самих, выбросило море. Жора ускоряет шаг. Если бы он мог бежать, то бросился бы опрометью. Еще бы, такая находка!

Лодка лежит на боку. Собственно говоря, это уже не лодка, а нечто на нее похожее. Мотор оторван вместе с кормой, днище проломлено. Зато в носовой части уцелел крепко привязанный зеленый узел: в тенте, служившем когда-то парусом, оказалось три спасательных жилета и две банки консервов.

Жилеты оранжевого цвета. Надели их, надули, стало как будто легче: ветер не пробивал резиновые подушки.

Двинулись дальше. Шли опять гуськом, мягко ступали по моховым кочкам, похожим на губку, вынутую из воды. Шли мимо озер. По ним тоже гуляли солидные волны, над которыми неслись странные белые облака. Ветер срывал гребни волн и увлекал их за собой в стремительное путешествие над тундрой.

Попытались сделать привал. Идти было трудно, но стоять, сидеть или лежать совсем уж невыносимо. Укрыться от ветра негде. Пробовали лежать среди кочек. Но разве кочка защита? И потом когда лежишь, то кажется, что на ноги уже ни за что не встать, что силы исчерпаны все до последней капельки. Потом приходят воспоминания, а затем, помимо воли, червяком заползает мысль, что все это было, было...

Нет, лучше уж не устраивать привалов. Или по крайней мере не валяться среди кочек. Лучше идти, падать, вставать, снова идти. Каждый шаг — почти чудо. И никаких тебе мыслей о том, что было, а только о том, что будет через минуту, через час, через сто лет.

К вечеру подошли к широкой реке. Три изможденных человека стояли у края обрыва и смотрели на противоположный берег. Стояли молча. Марина знала: ребята ждут, что скажет она. Переправляться сейчас? Страшно даже подумать. Переправы вброд через бесконечные озера отняли последние силы.

— Ночевать будем здесь,— сказала Марина и опустилась на мягкую моховую кочку.

Из ивняка и карликовых березок соорудили перину. На нее положили спасательные жилеты. Накрылись мокрыми плащами, а поверх их с головой — тентом, чтобы сохранить тепло от дыхания.

Утром страшно болели ноги. Обморозились. У Жоры дела совсем плохи. Он высокий, ночью ноги вылезли из-под тента и теперь сильно распухли. Марина отвернулась, чтобы не видеть, как Жора будет натягивать сапоги. За спиной слышались стоны.

Как прошла переправа?.. Долго об этом рассказывать. Началась она рано утром. И лишь когда солнце заканчивало свой путь по полярному небу, летчики, вылетевшие на поиски отряда геологов, увидели в сотне метров от широкой реки три маленькие фигуры. Приземлились.

Первой подошла невысокая женщина. На ней поверх парусинового плаща был надет спасательный жилет, на одной ноге вместо сапога — разорванный в клочья носок. Двое других подойти не могли. Летчики на руках внесли их в машину. Вертолет взял курс на Усть-Юрибей. Лететь было недалеко, всего километров десять.

* * *

Марина Картавова и Николай Вахрамеев сейчас заканчивают обработку материалов прошлогоднего полевого сезона и собираются в новую экспедицию. Опять на Север. Георгий Владимиров работает на заводе токарем. По-прежнему играет в футбол. В экспедицию в этом году не поедет. Будет сдавать экзамены в Ленинградский горный институт, на геологоразведочный факультет.



ВЫШЛИ В «БИБЛИОТЕКЕ «ОГОНЬКА»

Читатели журнала просят знакомить их с каждой книжкой, выходящей в «Библиотеке «Огонька». В этом году издано четырнадцать выпусков: прозы, поэзии, публицистики и очерков. Рассказы Виктора Астафьева, Юрия Нагибина, Юрия Добрякова, повести «Эхо войны» Анатолия Калинина и «Мадонна благородная» Николая Асанова уже встали на книжной полке.

Интересен и десятый выпуск библиотечки — «В субботу к вечеру» — пять рассказов прогрессивных африканских писателей, повествующих об освобожденном континенте, о борьбе негров за независимость и человеческое достоинство.

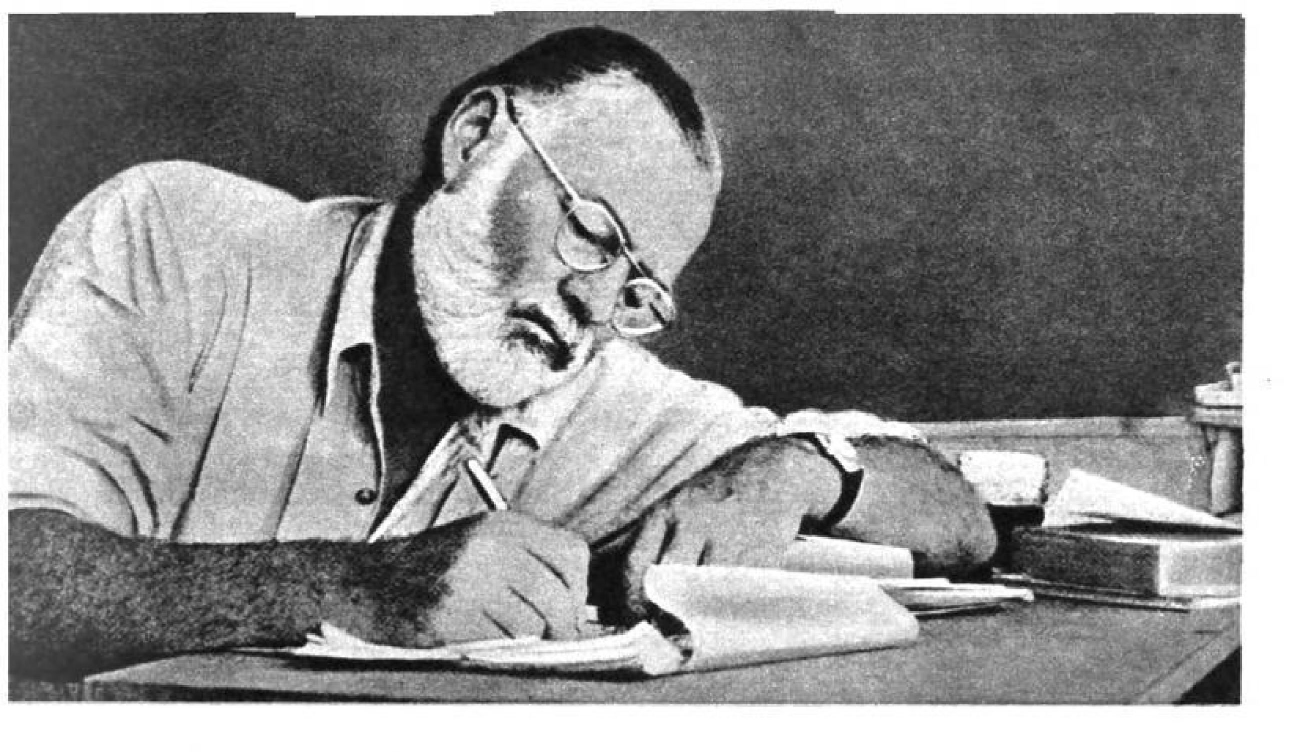
Новеллисты Ганы — Камерон Дуоду, Джеймс Аггрей и Ричард Бентил — рисуют новый быт, новые отношения, складывающиеся в молодой республике. Филис Альтман, писательница Южной Африки, проникает в убогий духовный мир двух молодых людей, отравленных расизмом (рассказ «В субботу к вечеру»). Эзекайл Мпхахлеле из Нигерии в новелле «Живой и мертвый» пытается понять и разоблачить психологию дипломированного колонизатора Стоффеля, который подавляет однажды появившуюся у него мысль о том, что его черный слуга Джексон — тоже человек. Стоффель уверяет себя, что «быть белым — значит нести ответственность». Но это обреченная психология, ибо, как сказал южноафриканский поэт Герберт Дзломо, «рождается росточек новой жизни — он все равно найдет дорогу к свету».

Любители поэзии получили в недавних выпусках библиотечки стихи Карло Каладзе, Сергея Смирнова, Леонида Мартынова. В эти маленькие сборники авторы постарались включить лучшие свои поэтические жемчужины. Тут и по-земному щедрая, наполненная жизнелюбивым ощущением мира лирика Каладзе; сатирическая россыпь остроумных эпиграмм и басен Смирнова; и стихи Мартынова, привлекающие своей отточенной мыслью, напряженными нравственными поисками.

Английский писатель Джеймс Олдридж в книжке «Поединок идей» рассказывает об ожесточенной духовной борьбе за умы и сердца людей, развернувшейся в современном мире. Олдридж подробно знакомит читателя с творчеством «сердитых молодых людей» в Англии (Алана Силлитоу), анализирует творчество американского писателя Дж. Сэлинджера, утверждает превосходство коммунистической морали.

В «Библиотеке «Огонька» изданы также «Очерки разных лет» Николая Погодина, очерковые книги Бориса Стрельникова «Нью-йоркские вечера», Зигмунда Хирена «Понедельник — вторник» и Николая Быкова «Поздняя сирень».

В. БЕЛОЗЕРОВ



басой, садился на солнышке, читал только что купленные книги и наблюдал за рыбной ловлей.

Авторы путевых очерков пишут о любителях рыбной ловли на Сене как об одержимых, у которых никогда ничего не ловится; но все же это серьезное и продуктивное занятие. Большинство рыболовов живет на скромную пенсию, не подозревая того, что инфляция ее совершенно обесценит; но были и заядлые рыболовы, проводившие на реке все свое свободное время. В Шарантоне, где в Сену впадает Марна, а также по обеим сторонам Парижа рыбалка была лучше, но и в самом Париже можно тоже было хорошо половить. Я не ловил здесь рыбы, потому что у меня не было снасти, и потом предпочитал откладывать деньги и ловить рыбу в Испании. Кроме того, я никогда не мог точно сказать, когда закончу работу или когда буду в отъезде, и поэтому не хотел увлекаться рыбной ловлей, которая имеет свои радости и разочарования. Но я внимательно следил за ней, и было интересно и приятно сознавать, что разбираешься в этом, и я всегда был рад тому, что есть люди, которые рыбачат в самом городе, относятся

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ НОСИШЬ С СОБОЙ

ЛЮДИ СЕНЫ

С верхней части улицы Кардинала Лемуана к реке можно спуститься разными путями. Ближе всего идти вниз по этой улице, но это крутой спуск, и после того, как вы доберетесь до ровного места и пересечете начало бульвара Сен-Жермен с его оживленным движением, вы попадете на унылый участок набережной, где гуляет ветер, а по правую руку будет Алль о Вэн[1]. Этот рынок не похож на другие парижские рынки, это скорее нечто вроде таможенного пакгауза, где вино хранится до тех пор, пока не уплатят пошлину. Снаружи рынок выглядит безрадостно — не то военный склад, не то концентрационный лагерь.

По ту сторону рукава Сены расположен остров Сен-Луи с его узенькими улочками, старыми, высокими и очень живописными домами. Можно отправиться туда или повернуть налево и идти по набережной вдоль острова, пока на противоположной стороне перед вами не предстанет Нотр-Дам и остров Ситэ.

На книжных лотках на набережной иногда можно было найти американские книги, только что выпущенные в дешевых изданиях. В ресторане «Тур д'Аржан» в те времена сдавалось несколько комнат наверху, и тот, кто их снимал, получал в ресторане скидку. А если постояльцы оставляли после себя какие-нибудь книги, коридорный сбывал их в лавку неподалеку на набережной; книги можно было купить и у хозяйки за несколько франков. Она не питала доверия к книгам на английском языке, покупала их почти даром и тут же перепродавала с небольшой прибылью.

— А есть среди них стоящие? — спрашивала она меня, когда мы подружились.

— Иногда попадаются.

— Как же это узнать?

— Вот прочту, тогда смогу сказать.

— Все-таки это дело рискованное. Ну сколько людей могут читать по-английски?

Продолжение. См. «Огонек» № 17.

[1] Крытый рынок для оптовой торговли вином.

— Оставляйте их для меня. Я буду их просматривать.

— Нет, не могу. Вы заглядываете к нам очень редко, и вас подолгу не бывает, а мне надо их сбывать как можно скорее. Никто не знает, стоят они чего-нибудь или нет. Если окажется, что они ничего не стоят, я их так и не смогу продать.

— А чем, по-вашему, ценны французские книги?

— Прежде всего там есть картинки. Ценится качество картинок и, конечно, переплет. Если книга хорошая, владелец обязательно ее как следует переплетет. Английские книги тоже в переплетах, но в плохих. О них очень трудно судить.

Я любил пройтись по набережной, когда кончал писать или мне нужно было что-либо обдумать. Мне легче было думать, когда я гулял, или что-нибудь делал, или наблюдал, как у других спорилась работа. В начале Ситэ, ниже моста Пон-Неф, где стоит статуя Генриха Четвертого, остров сужается, как острый нос корабля, и там — небольшой парк у самой воды, с прекрасными каштанами, огромными и развесистыми, а в протоках и заводях, которые Сена образует в своем течении, были превосходные места для рыбной ловли. Вы спускаетесь по лестнице в парк и наблюдаете за рыболовами, которые устроились здесь и под большим мостом. Рыбные места меняются в зависимости от уровня воды в реке; рыболовы пользуются здесь складными бамбуковыми удочками с очень тонкой леской, легкой снастью и поплавками; они умело подкармливают в том месте, где ловят. Им всегда удавалось что-нибудь поймать, и часто на крючок попадалась отличная, похожая на плотву рыба, которую здесь называют «гужон». Поджаренная целиком, она просто объедение, и я мог съесть полную тарелку этой рыбы. Мясистая и вкусная, она была даже лучше свежих сардин и не такая жирная, и мы ели ее прямо с костями.

Я знал нескольких человек, которые удили в самых рыбных местах Сены, между островом Сен-Луи и площадью Вер Галлан, и иногда, в ясные дни, я покупал литр вина, хлеба с кол-

к этому серьезно, и у них бывает в семьях на обед жареная рыба.

Рыболовы и оживленная река, красавицы баржи с их особой жизнью на борту, буксиры с трубами, которые складывались, чтобы не задеть мосты, тянущаяся за буксиром вереница барж, величественные вязы на одетых в камень берегах, платаны, кое-где тополи — нет, никогда не могло быть скучно на реке! Когда в городе так много деревьев, кажется, что весна вот-вот придет, что в одно прекрасное утро ее неожиданно принесет теплый ночной ветер. Иногда проливные холодные дожди прогоняли весну, и казалось, что она никогда не вернется, что из твоей жизни выпадает целое время года. Это были единственные по-настоящему печальные дни в Париже, потому что это было неестественно. Печаль обычно ждешь осенью. Каждый год в тебе что-то умирает, когда с деревьев опадают листья, а их голые ветки беззащитно качаются на ветру в холодном зимнем свете. Но ты знаешь, что весна обязательно придет, что реки потекут, освободившись от ледяного оцепенения. Когда безжалостные холодные дожди убивали весну, было такое чувство, будто ни за что загублена молодая жизнь.

Но и в те времена весна в конце концов всегда приходила, только бывало страшно от мысли, что вдруг этого не случится.

ОБМАНЧИВАЯ ВЕСНА

Когда наступала весна, даже еще не настоящая, не было других вопросов, кроме одного: где лучше всего провести время? Единственно, что могло испортить день, — это люди, но если удавалось избежать встреч с ними, день становился беспредельным. Люди всегда портят друг другу жизнь, за исключением очень немногих, которые хороши, как сама весна.

Я решил выйти на улицу и купить утреннюю программу скачек. Даже в самом бедном квартале можно было найти по крайней мере

один экземпляр, но в такой день программу нужно было покупать очень рано. Я нашел один экземпляр на углу улицы Декарта и площади Контрэскарп. По улице Декарта шли козы. Я глубоко вдохнул воздух и поспешно двинулся назад, чтобы скорее подняться к себе и закончить работу. В это раннее утро у меня было искушение не возвращаться домой, а пойти за козами вниз по улице. Прежде чем начать писать, я заглянул в программу. Сегодня скачки будут в Энгиене, на небольшом, симпатичном, но коварном ипподроме — пристанище аутсайдеров[1].

Итак, в тот день, когда я кончил работать, мы пошли на бега. Я получил немного денег от одной газеты из Торонто, для которой я както писал, и мы хотели сорвать крупный куш, если найдется на кого поставить. У моей жены как-то была в Отейле лошадь по имени Золотая Коза, на нее ставили сто двадцать к одному. Она лидировала в скачке на двадцать корпусов и на последнем препятствии упала. Но она уже для нас столько заработала, что нам хватило на полгода жизни. Мы потом старались не вспоминать об этом. Но в тот год мы все время выигрывали, до этого случая с Золотой Козой.

Мы отправились поездом с Северного вокзала через самую грязную и унылую часть города и с платформы пешком добрались до оазиса ипподрома. Было еще рано, и мы расстелили мой дождевик и уселись прямо на свежеподстриженную траву, завтракали, пили вино из бутылки и смотрели на старые трибуны, на коричневые деревянные будки тотализатора, на зеленую траву ипподрома, темно-зеленые деревянные препятствия и коричневые отблески водных преград, на побеленные каменные стены и белые столбы и перила, на конюшню под только что распустившимися деревьями и на первых лошадей, которых из нее выводили. Мы выпили еще немного вина и внимательно проглядели программу скачек, потом моя жена прилегла на дождевик вздремнуть, подставив лицо солнцу. Я отправился искать одного человека, которого я знавал еще давно в Сан-Сиро в Милане. Он назвал мне двух лошадей.

— Они, конечно, много не возьмут, но пускай вас не обескураживают ставки.

В первом заезде, поставив лишь половину наших денег, мы выиграли с выдачей двенадцать к одному; лошадь красиво брала препятствия и, выйдя вперед на дальнем конце дорожки, пришла первой, оторвавшись на четыре корпуса. Мы отложили половину выигрыша, а другую половину поставили на вторую лошадь, которая тоже вырвалась вперед, вела скачку по всем препятствиям, а на прямой точь-в-точь дотянула до финиша, хотя фаворит наседал на нее, приближаясь после каждого препятствия, и хлысты обоих жокеев работали вовсю.

Мы пошли выпить по бокалу шампанского в баре под трибунами и подождать, пока поднимутся ставки.

— Да, скачки — жестокая штука,— сказала жена.— Ты видел, как фаворит наседал на нашу лошадь?

— Я до сих пор чувствую это всем своим нутром.

— Сколько она возьмет?

— Ставки были восемнадцать к одному. Но, возможно, перед самым заездом на нее многие поставили.

Мимо нас провели лошадей, наша была вся мокрая, с раздувающимися ноздрями, и ее оглаживал жокей.

— Бедняга,—сказала жена.— А наше дело — только деньги ставить.

Мы посмотрели, как лошади шли, одна за другой, и выпили еще по бокалу шампанского, и тогда объявили выигрыш: 85. Это означало, что лошадь выиграла с выплатой восьмидесяти пяти франков на десятифранковую ставку.

— Должно быть, в последний момент на нее ставили многие,— сказал я.

Но мы выиграли большие деньги, большие для нас, и теперь у нас была весна и деньги. А это было все, что нам нужно. В такой день, если разделить по четверти выигрыша на каждого из нас, половину можно припрятать как капитал для скачек. Капитал для скачек я хранил в секрете, отдельно от других денег.

МИСС СТАЙН ПОУЧАЕТ

Мы с женой зашли в гости к мисс Стайн, которая жила вместе с приятельницей, и они очень сердечно и дружелюбно приняли нас в просторном рабочем кабинете, где было много картин. Комната нам очень понравилась. Она напоминала зал самого изысканного музея, только здесь был большой камин, и было тепло и удобно, и вас угощали вкусными вещами, и чаем, и натуральными ликерами из красных и желтых слив или дикой малины. Это были ароматные, бесцветные крепкие напитки в хрустальных графинах, их разливали в маленькие рюмочки, и как они ни назывались: quetsche, mirabelle или framboise,— все они имели вкус фруктов, из которых были изготовлены, приятно обжигали язык, согревали вас и делали разговорчивым.

Мисс Стайн была крупной женщиной, невысокой, но крепко сбитой, как крестьянка. У нее были прекрасные глаза и властное немецкоеврейское лицо, которое могло быть и лицом фриуланки[2], и вообще она напоминала мне крестьянку Севера Италии своей одеждой, подвижным лицом и красивыми, пышными и непокорными волосами, которые она, как, наверное, еще в колледже, зачесывала наверх и укладывала пучком. Она говорила без умолку и сначала все рассказывала о разных людях и странах.

Ее компаньонка, обладавшая очень приятным голосом, была маленького роста, темноволосая, с подстриженными волосами, как у Жанны д'Арк на иллюстрациях Буте де Монвель, и крючковатым носом. Когда мы вошли, она что-то вышивала, а потом приготовила напитки и еду и стала разговаривать с моей женой. Она начинала разговор с ней, но прислушивалась к тому, что говорилось рядом, и часто вмешивалась в чужую беседу. Позже она объяснила мне, что она всегда разговаривает с женами. Жен гостей, как почувствовали мы с Хэдли, здесь только терпели. Нам нравились мисс Стайн и ее подруга, хотя подругу мы побаивались. Картины, пирожные и настойки были действительно чудесными. Нам казалось, что мы им тоже нравимся, они обращались с нами, словно мы были хорошими, воспитанными и подающими надежды детьми, и я чувствовал, что они прощали нам даже то, что мы любим друг друга и женаты,— время все уладит! И когда моя жена пригласила их на чай, они согласились.

Когда они пришли, нам показалось, что мы им понравились еще больше; вероятно, это было оттого, что наша квартира была такой тесной и мы все сидели гораздо ближе друг к другу. Мисс Стайн села на кровать и попросила показать ей написанные мною рассказы, сказав, что они ей нравятся все, за исключением одного под названием «У нас в Мичигане».

— Рассказ хороший,— сказала она.— В этом нет сомнения. Но он inaccrochable. Это значило, что он вроде картины, которую художник написал, но не может выставить на своей выставке, и никто ее не купит, так как невозможно повесить ее у себя дома.

— Ну, а если рассказ вовсе не неприличный, а просто сделана попытка использовать в нем слова, которые обычно употребляют люди? И если это единственные слова, которые делают рассказ правдивым, и ты вынужден их использовать? Тогда ты обязан их использовать.

— Вы ничего не поняли. Вы не должны писать ничего, что не может быть напечатано. В этом нет никакого смысла. Это неправильно, и это глупо.

Она сказала, что сама хочет печататься в «Атлантик Мансли» и ее будут там печатать. А я еще не настолько хороший писатель, чтобы печататься в этом журнале или в «Сатердей ивнинг пост», хотя, возможно, я писатель нового типа, со своей манерой, но прежде всего я должен помнить, что нельзя писать рассказы inaccrochable. Я не стал спорить с ней и не пытался ей втолковать, как я строю диалог. Это было мое личное дело, но слушать ее мне было интересно. В тот вечер она говорила нам также, как надо покупать картины.

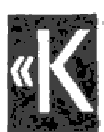
— Надо покупать или одежду, или картины,— сказала она.— Это очень просто. Никто, кроме очень богатых людей, не может делать и то и другое. Не обращайте внимания на то, как вы одеты, и особенно никакого внимания на моду, а покупайте себе прочные и удобные вещи, тогда у вас останутся деньги на покупку картин.

— Но даже если я больше никогда не буду покупать себе одежду,— возразил я,— все равно у меня не хватит денег, чтобы купить картины Пикассо, которые мне нравятся.

— Да, вам он недоступен. Вы должны покупать картины людей вашего возраста, одного с вами военного набора. Вы их узнаете. Вы встретите их в своем квартале. Всегда есть хорошие и серьезные новые художники. А что касается одежды, то вы лично ее нечасто покупаете. Зато ваша жена делает это часто. А женские платья стоят дорого.

Я заметил, что моя жена старалась не смотреть на странное, третьесортное платье мисс Стайн, и ей это удавалось. Когда они ушли, мы все еще нравились им, и они нас пригласили снова зайти в дом 27 по улице Флерю.

ФОРД МЭДОКС ФОРД



«Клозери де Лила» было ближайшим хорошим кафе, когда мы жили над лесопилкой в доме 113 на улице Нотр-Дам-де-Шан, и оно считалось одним из лучших кафе в Париже. В нем было тепло зимой, а весной и осенью очень приятно было сидеть на воздухе, столы стояли под сенью деревьев с той стороны, где была статуя маршала Нея, а остальные столики были расставлены под большими тентами вдоль бульвара. Двое из официантов были нашими хорошими друзьями. Посетители «Дома» и «Ротонды» никогда не ходили в «Лила». Они никого здесь не знали, и никто не обращал на них внимания, когда они все-таки приходили. В те дни многие ходили в кафе, расположенные на углу бульвара Монпарнас и бульвара Распай, чтобы показаться на людях, и в этих кафе газетчики сходили за знаменитостей.

В этот вечер я сидел за столиком перед кафе «Лила» и наблюдал за тем, как менялось освещение деревьев и домов, и за лошадьми-тяжеловозами, медленно шагающими по внешней стороне бульваров. Сзади, справа от меня, отворилась дверь кафе, из нее вышел человек и направился к моему столику.

— Ах, это вы! — сказал он.

Это был Форд Мэдокс Форд, как он тогда называл себя. Он тяжело отдувался в густые крашеные усы и держался прямо в своем модном костюме, смахивая на странствующую огромную пивную бочку.

— Разрешите сесть с вами? — спросил он, садясь и глядя на бульвар водянистыми голубыми глазами из-под бледных век и бесцветных ресниц.

— Я потратил несколько лет своей жизни на то, чтобы вот этих животных убивали гуманным способом,— сказал он.

— Вы говорили мне об этом.

— Не думаю.

— Я абсолютно уверен.

— Очень странно. Я в жизни никому об этом не говорил.

— Хотите выпить?

Официант стоял рядом, и Форд заказал ему Chambéry Cassis[3]. Официант, высокий, худой, с большой плешью, остатками зализанных волос и старомодными пышными драгунскими усами, повторил заказ.

— Нет. Принесите fine à l'eau[4],— сказал Форд.

— Fine à l'eau для месье,— повторил официант.

Я всегда старался по возможности не смотреть на Форда и сдерживал дыхание, находясь с ним в одной комнате, но сейчас мы сидели на воздухе, и ветер гнал опавшие листья по тротуару от меня к нему, и я внимательно посмотрел на него и, пожалев об этом, стал смотреть на бульвар. Вечерний свет снова изменился, но я не заметил этой перемены. Я сделал глоток, чтобы узнать, не испортил ли

---

[1] Аутсайдер — скаковая или беговая лошадь, не являющаяся фаворитом.

[2] Жительница северо-восточной Италии.

[3] Крепкий напиток.

[4] Коньяк с водой.

приход Форда вкус напитка, но он был по-прежнему вкусным.

— Вы очень мрачны,— сказал он.

— Нет.

— Нет, мрачны. Вам надо чаще появляться на людях. Я сел к вам для того, чтобы пригласить вас на наши скромные вечера, которые мы устраиваем в этом забавном Bal Musette [1], недалеко от площади Контрэскарп, на улице Кардинала Лемуана.

— Я жил над Bal Musette два года, еще до того, как вы в прошлый раз приехали в Париж.

— Как странно. Вы уверены в этом?

— Да,— ответил я,— уверен. У хозяина дома было такси, и когда мне надо было на самолет, он возил меня на аэродром, и мы всегда заходили в цинковый бар в Bal Musette и перед тем, как ехать на аэродром, выпивали по стакану белого вина.

— Меня никогда не тянуло летать,— сказал Форд.— Приходите с женой в субботу вечером в Bal Musette. Там довольно весело. Я нарисую вам план, чтобы вы могли легко найти это место. Я наткнулся на Bal Musette совершенно случайно.

— Это в подвале дома 74 на улице Кардинала Лемуана,— сказал я.— А я жил на третьем этаже.

— Там нет номера,— сказал Форд.— Если вы найдете площадь Контрэскарп, то найдете и это место.

Я сделал еще один большой глоток. Официант принес заказ Форда.

— Я просил не коньяк с содой,— сказал он назидательно и строго.— Я заказал вермут Chambéry Cassis.

— Ладно, Жан,— сказал я.— Я возьму этот коньяк. А месье принесите то, что он заказал сейчас.

— То, что я заказал раньше,— поправил Форд.

В этот момент мимо нас по тротуару прошел довольно худой человек в пелерине. Он шел рядом с высокой женщиной и, взглянув на наш столик, отвернулся и зашагал дальше, вниз по бульвару.

— Вы заметили, как я срезал его? — спросил Форд.— Нет, вы заметили, как я его отшил?

— Нет. А кого вы отшили?

— Да Беллока,— сказал Форд.— Ну и срезал же я его!

— Я не видел. А зачем вы это сделали?

— Есть тысяча причин,— ответил Форд.— Эх, и поставил же я его на место!

Он весь сиял от счастья. Я никогда не видел Беллока и не думаю, что он заметил нас. Было похоже, что он шел, задумавшись о чем-то, и совершенно механически скользнул взглядом по нашему столу. Мне было неприятно, что Форд нахамил ему, так как, будучи молодым, начинающим писателем, я испытывал уважение к Беллоку как писателю старшего поколения. Сейчас это не в ходу, но в те дни было обычным явлением.

Я подумал, что было бы очень приятно, если бы Беллок присел у нашего столика и я бы мог с ним познакомиться. Вечер был испорчен встречей с Фордом, и Беллок смог бы как-то его скрасить.

— Для чего вы пьете коньяк? — спросил меня Форд.— Разве вы не знаете, что коньяк губит молодых писателей?

— Я пью его довольно редко,— ответил я. Я старался вспомнить, что Эзра Паунд говорил мне о Форде, о том, что я никогда не должен ему грубить и должен помнить, что Форд лжет только тогда, когда очень устал, что в действительности он хороший писатель и у него были очень большие семейные неприятности. Я изо всех сил старался помнить обо всем этом, но это было очень трудно, потому что рядом со мной сидел сам Форд, грузный, пыхтящий, неприятный человек. Все-таки я старался.

— Скажите, зачем надо презирать людей? — спросил я.

До сих пор я думал, что это происходит только в романах Уиды. Я никогда не читал романов Уиды, даже когда бегал на лыжах в Швейцарии, где, как только подует сырой южный ветер, начинаешь читать все, что попадается под руку, вплоть до оставленных кем-нибудь довоенных изданий Таухница [2]. Но какое-то шестое чувство подсказывало мне, что в ее романах люди должны презирать друг друга.

— Джентльмен,— объяснил Форд,— всегда презирает хама.

Я отхлебнул коньяку.

— А невоспитанного человека? — спросил я.

— Джентльмен не станет знаться с невоспитанными людьми.

— Значит, вы можете презирать только того, с кем вы на равной ноге? — настаивал я.

— Конечно.

— Как же тогда вы узнаете в нем хама?

— Этого можно не знать, особенно когда в хама превращается приличный человек.

— А что такое хам? — спросил я.— Не тот ли, кого вдруг хочется избить до полусмерти?

— Совсем не обязательно,— ответил Форд.

— А Эзра Паунд — джентльмен? — спросил я.

— Конечно, нет,— ответил Форд.— Он американец.

— Значит, американец не может быть джентльменом?

— Разве что Джон Куинн,— объяснил Форд.— Или некоторые из ваших послов.

— Мойрон Т. Херрик?

— Возможно.

— А Генри Джеймс был джентльменом?

— Почти.

— Ну, а вы — джентльмен?

— Конечно. Я был на службе Его Величества.

— Сложное дело,— сказал я.— А я — джентльмен?

— Конечно, нет,— ответил Форд.

— Тогда почему вы пьете со мной?

— Я пью с вами как с многообещающим молодым писателем. Как с товарищем по перу.

— Очень мило с вашей стороны,— сказал я.

— В Италии вы могли бы сойти за джентльмена,— сказал Форд великодушно.

— Но я не хам?

— Разумеется, нет, мой милый. Разве я сказал что-нибудь подобное?

— Я могу стать им,— сказал я с грустью.— Пью коньяк и вообще... Случилось же так с лордом Гарри Хотспером в Троллопе. Скажите мне, а Троллоп был джентльменом?

— Конечно, нет.

— Вы уверены?

— Тут могут быть разные мнения. По-моему, нет.

— А Филдинг? Он ведь был судьей.

— Формально — возможно.

— Марлоу?

— Конечно, нет.

— Джон Донн?

— Он был священник.

— Страшно интересно,— сказал я.

— Я очень рад, что вы заинтересовались,— сказал Форд.— Перед тем, как вы уйдете, я выпью с вами коньяку с водой.

Когда Форд ушел, уже стемнело, и я пошел к киоску и купил «Пари-спорт», вечерний выпуск с результатами скачек в Отейле и программой заездов на следующий день в Энгиене. Официант Эмиль, сменивший Жана, подошел к столу посмотреть, как прошли последние заезды в Отейле. Ко мне подсел мой большой друг, редко заходивший в «Лила». Он попросил Эмиля принести ему выпить, и в тот же момент мимо нас по тротуару снова прошел тот самый худой человек в пелерине и высокая женщина. Он скользнул взглядом по столику и отвернулся.

— Это Хилари Беллок,— сказал я своему другу.— Тут недавно был Форд, он совершенно уничтожил его.

— Ты что, обалдел? — сказал мой приятель.— Да это Элистер Кроули, кабалист, колдун. Слывет самым опасным человеком на свете.

— Виноват,— сказал я.

Перевели с английского Л. Петров, М. Брук, Ф. Марков.

[1] Bal Musette — дешевый танцевальный зал.

[2] Издатель в Германии, выпускавший дешевые издания на разных языках.



Юность мира готовится к встрече

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «МИНСК»

Человек приехал в город и поселился в гостинице. На несколько дней она становится его домом. И каждому хочется, чтобы его жилье было светлым, удобным, уютным. Именно таким домом станет для гостей Москвы новая гостиница на улице Горького. Широкие окна, просторные холлы, современно обставленные, нарядные номера, всевозможные виды бытового обслуживания — все это будет предоставлено в распоряжение пятисот шестидесяти девяти приезжих.

Называется гостиница «Минск». И это не просто название — в ее оборудовании самое горячее участие принимают труженики Белоруссии. Они прислали сюда специально изготовленную посуду, телевизоры, ковровые изделия, которые придадут гостинице своеобразный национальный колорит.

Построили ее рабочие московского строительного треста № 14 по проекту архитектора А. Е. Аркина. В отделке здания широко использованы новые химические материалы: полы из легкого нарядного пластика; кресла, кровати, тахты сделаны с применением поролона.

Скоро новый отель гостеприимно распахнет свои прозрачные двери для первых приезжих, и приветливо прозвучат слова: «Добро пожаловать к нам в московский «Минск»!»

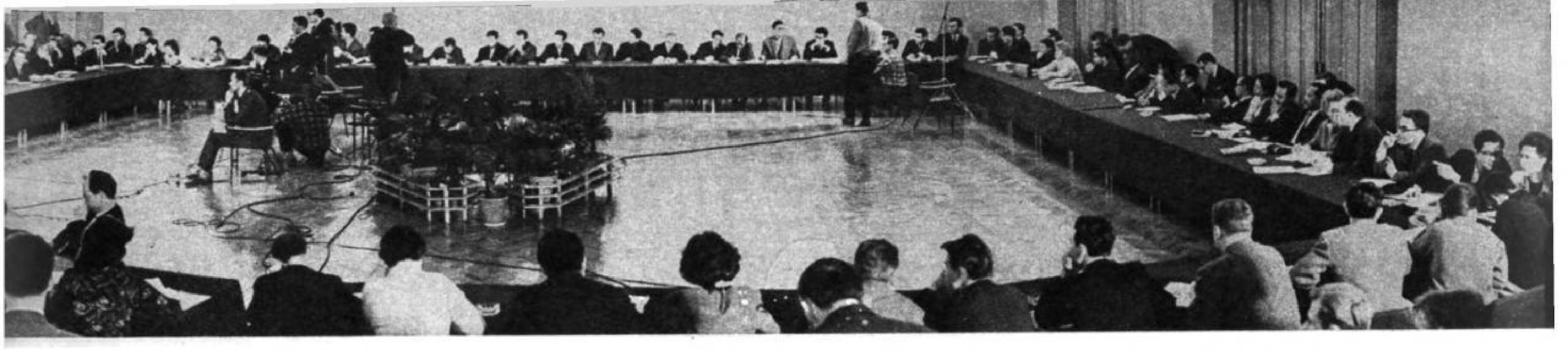
Ю. КРИВОНОСОВ

Фото автора.



Интервью «Огонька»

Валентин МАЛАНЧУК,
секретарь Львовского промышленного обкома КП Украины



Представители 102 молодежных и студенческих организаций 61 страны Африки, Азии, Америки, Европы и Австралии, а также делегации международных молодежных организаций собрались в Москве на заседание Международного подготовительного комитета Всемирного форума солидарности молодежи и студентов в борьбе за национальную независимость и освобождение, за мир. В обстановке сотрудничества, единодушия и дружбы были обсуждены вопросы подготовки и проведения Всемирного форума юности. Он состоится 16—23 сентября 1964 года в Москве.

На снимке: Пресс-конференция Постоянного секретариата Международного подготовительного комитета.

Фото Дм. Бальтерманца.



Соседи — не чужие

Так говорят хлопкоробы. И действуют согласно этим словам, помогая отстающему соседу поднять слабое хозяйство. Химики Чарджоу тоже решили посмотреть, что творится у них за забором. По соседству с суперфосфатным заводом имени Ленина расположены поля сельхозартели «Искра». Разумеется, хлопковые плантации колхоза и раньше получали свою долю удобрений из заводских цехов плодородия. Но теперь деловые отношения поставщика и заказчика переросли в дружбу. Суперфосфатчики взяли шефство над «Искрой». Общественно-конструкторское бюро предприятия участвует в разработке проекта электрификации и механизации соседнего хозяйства. А центральная заводская лаборатория помогает земледельцам провести химические анализы почвы. На основе этих анализов будут составлены карты наиболее эффективного применения удобрений.

За последние два года туркменские химики из Чарджоу в семь раз увеличили поставку удобрений в соседние братские республики — Узбекистан, Каракалпакию, Таджикистан.

В. КРУПИН



Чарджоуский суперфосфатный завод. В центральной лаборатории.

Фото автора.

Счастливый посетитель

В середине апреля в музее «Абрамцево» был праздник. Со времени вторичного открытия музея «Абрамцево», после Отечественной войны, сюда пришел миллионный посетитель. Им оказался москвич, инженер Митрофан Иванович Авдуков. Счастливому посетителю были вручены памятные подарки: биография С. Т. Аксакова — исследование доктора филологических наук С. И. Машинского, сочинение С. Т. Аксакова — «История моего знакомства с Гоголем», очерк об Абрамцеве заслуженного деятеля искусств РСФСР директора музея Н. П. Пахомова.

Всем посетителям в этот день были вручены открытки с изображением усадьбы.

Музей расположен в 57 километрах от Москвы. В середине прошлого века здесь жил известный писатель и театральный критик С. Т. Аксаков. Сюда приезжали к нему Гоголь, Щепкин, Тургенев. Здесь работали Репин, Серов, Врубель.

Н. МАСАЛИНА



На снимке: Н. П. Пахомов преподносит подарок миллионному посетителю музея.

Иванну Комаринскую во Львове знают многие. Этой симпатичной девушке двадцать лет, но пережила она больше, чем другие переживают за всю долгую жизнь.

Когда она родилась, отца уже не было: погиб от бандитской пули. Мать с детьми попала в беду. Только что закончилась война, и горе непрошеным гостем прочно сидело во многих семьях. В это трудное время вдову Комаринскую окружили своими «заботами» и «сочувствием» ловцы человеческих душ — неговисты, последователи реакционнейшей секты.

Вскоре мать вышла замуж за одного из ее руководителей и стала религиозной фанатичкой. В духе мрачного учения секты она воспитывала и детей.

Иванна ходила в школу и хорошо училась. Учителя неоднократно советовали девушке выйти из секты, но, очевидно, делали это без достаточной аргументации. Такие советы звучали как приказ, как окрик, и пытливую школьницу они только раздражали.

Иванна из тех натур, которые во всем хотят разобраться по-настоящему сами, а потом уже принимать решения. Конечно же, в замысловатом и темном лабиринте неговизма ей скоро стало душно, она начала искать выход.

В то время Иванна работала в артели художественной вышивки. Присмотрелась она к комсомольской организации, комсомольцы присмотрелись к ней, посоветовали вступать в комсомол. Иванна решилась и честно сказала о своем решении матери. Что произошло после этого, трудно передать. Мать жестоко избила дочку, собрала ее пожитки, прокляла и выгнала из дому.

Так, не будучи еще комсомолкой, Иванна пришла в райком комсомола. Там девушку выслушали и помогли ей — устроили на автобусный завод, выхлопотали место в общежитии. И стала Иванна работать в большом коллективе, в деревообделочном цехе. Шила сиденья для автобусов — 120 сидений за смену. Дело нелегкое, но мастер хвалил новенькую за хорошую работу.

В комнате с ней жили веселые девчата Роза Грай и Стефа Вовк. Они чем могли помогали Иванне в работе, в учебе, в жизни. По вечерам Комаринская училась в школе, много времени проводила в астрономическом кабинете возле телескопа, нацеленного в загадочный звездный мир. Ходила с подружками в кино, увлеклась парашютным спортом, и вскоре уже на ее счету числилось до тридцати прыжков, она получила спортивный разряд.

Девушка преобразилась. Ее полюбили товарищи за скромность, за жизнерадостность, за веселые песни. Два года тому назад, когда Иванна окончила среднюю школу, комсомол и партийная организация позаботились, чтобы она училась дальше. Завод послал Комаринскую в политехнический институт. Живет теперь Иванна в институтском общежитии, получает 45 рублей стипендии, штурмует сложнейшие науки, готовит себя к интересной трудовой деятельности советского инженера.

И еще мечтает Иванна во время каникул поездить по родной стране, походить пешком, увидеть жизнь, поучиться у людей работать и жить достойно нашего великого времени.

Судьба Иванны Комаринской не исключение. У нас немало было заблудившихся в религиозных закоулках, многие из них порвали тенета тьмы или рвут их сегодня.

В городах и селах области бурлит жизнь. Для нас, жителей западных областей Украины, 1964 год особый, юбилейный.

Двадцать пять лет назад, в незабываемые сентябрьские дни 1939 года, к нам пришла новая жизнь и долгожданное воссоединение в единой Советской Украине.

Четверть века... Большой, насыщенный событиями огромного значения путь. От вековой отсталости к техническому и научному прогрессу, от нищеты к изобилию, от невежества к знанию.

Но мы понимаем, что не все и не везде у нас благополучно, что не полностью искоренены остатки чуждой нам идеологии. Пережитки старого еще цепко сидят в сознании некоторых людей, связывают, сковывают их духовно. Одним из таких наиболее распространенных пережитков являются религиозные

предрассудки. Чем объясняется их особая живучесть на наших землях?

Причин много.

Нельзя сбрасывать со счетов и того, что влияние церковников в западных областях было особенно велико. На территории Львовской области накануне воссоединения действовало 216 римско-католических костелов и 91 монастырь, 1 308 греко-католических церквей и 40 монастырей, 5 православных церквей, 112 иудейских общин, 25 немецких кирх, 186 различных сект... Вот какую тяжелую сеть духовных цепей несли на себе люди. Служители различных культов составляли целую армию носителей реакции и мракобесия. Их состав пополнялся ежегодно за счет выпускников духовной академии и двух семинарий.

Церковь всегда была не только религиозной, но и прежде всего политической организацией. В Западной же Украине политическая, антинародная, антикоммунистическая деятельность церковников имела особенно большой размах, отличалась исключительной агрессивностью. Известно, что униатская церковь в 30-х годах одной из первых включилась в «крестовый поход» против СССР, провозглашенный Ватиканом. Орган митрополита Шептицкого — газета «Мета» призывала к борьбе с большевизмом любыми средствами, не исключая уничтожения миллионов людей.

Во время войны церковники активно сотрудничали с оккупантами. О своей службе в батальоне фашистского палача Оберлендера «Нахтигаль» священник Гриньох докладывал своему духовному шефу, тому же Шептицкому:

«В июне 1941 года призвали меня непосредственно перед военными действиями на Востоке в организованную украинскую часть в качестве военного духовника. С воинской частью прошел я всю кампанию первых недель войны. За участие в боях представили меня к награде железным крестом».

Известно, кого и за что отмечали железными крестами. На своей груди этот «слуга божий» носил два креста — символ церкви и знак палача. После окончания войны капеллан Гриньох принимал активное участие в разработке плана убийства священника Г. Костельника, возглавившего инициативный комитет по созыву собора, на котором была ликвидирована церковная уния. И Костельника убили...

Еще десять лет назад у нас были случаи, когда церковные диверсанты, выполняя волю своих империалистических хозяев, засылали к нам разную литературу на религиозные темы, в чемоданах с двойным дном завозили церковную утварь, а некоторые спекулянты, наживавшиеся на отсталости людей, пытались провозить через границу пирожки, начиненные крестиками, продавали «билеты в рай».

Тогда же был раскрыт подпольный женский монастырь, в котором предприимчивые игуменьи не столько пеклись о боге, сколько эксплуатировали труд послушниц. Кстати, некоторые из послушниц этого монастыря и поныне работают в больнице № 3, а некоторые ввиду преклонного возраста оставили работу и ушли на пенсию.

Особенно крепкие связи со своим центром в Соединенных Штатах Америки имели баптистские организации области.

Конечно, сегодня обстановка совсем иная. Все больше и больше людей отходит от религии. Все меньше и меньше остается церквей и религиозных организаций. Закрываются церкви и молитвенные дома не по административному приказу сверху, а потому, что люди отходят от них. Они фактически закрываются сами.

Послушаем и поразмыслим над тем, что говорят люди, порвавшие с религией.

— После войны, лишившись семьи и крова, я очень нуждался в моральной и материальной поддержке,— рассказывает рабочий кондитерской фирмы «Светоч» Феликс Иванович Григорьев.— В 1945 году, демобилизовавшись из армии, я поступил кочегаром на Львовскую кондитерскую фабрику имени Кирова. Здесь работаю и поныне. Были у меня в жизни очень трудные дни, и вот тогда, воспользовавшись моим тяжелым моральным состоянием, меня и попутали баптистские проповедники. Раз сходил в молитвенный дом, второй, а там «братья во Христе» сразу засыпали меня своими советами, наставлениями. Не успел опомниться, как уже оказался членом общины. Дали мне библию. Читал я все это, но не очень мог разобраться в прочитанном. «Человеческий разум не может постигнуть премудрость божью,— объясняли мне,— поэтому не умом, а верою, читая и слушая, постигай неисповедимую волю господню».

Стал приглядываться к делам и поступкам «святых отцов», хотелось подражать их вере. А дела их оказались весьма неблаговидными. Старший пресвитер области Севастьян Бричук вел аморальный образ жизни, обесчестил двенадцать сектанток. После него старшим пресвитером был Павел Андрущенко. Этого сами верующие выгнали за пьянство и жульничество. Пресвитер Игнат Воевода построил себе на средства общины особняк, потом продал его и скрылся из Львова.

Противно мне стало. Вера развеялась, и я взглянул на жизнь открытыми глазами. Реальный мир оказался значительно интереснее того, который сулили сектанты. И я пошел за помощью в фабком, в партийный комитет. Мне посоветовали учиться. Поступил в вечернюю школу рабочей молодежи, стал читать газеты, журналы. Потом пошел учиться дальше — в вечерний университет марксизма-ленинизма, окончил его и получил диплом. Я сердечно благодарю Коммунистическую партию. Это она подняла меня с самого дна религиозного болота, научила быть полезным своему народу.

...Примечательно, что не только рядовые верующие отходят от религии. Все чаще и чаще по своей доброй воле оставляют в ней командные посты и отказываются от веры в бога сами служители культов.

Недавно по Львовскому радио выступал Тихон Куцина из села Вонигово в Закарпатье. Он окончил Ленинградскую духовную семинарию, был очень ревностным проповедником священного писания. Но реальная жизнь разбила религиозные иллюзии, и честный человек вернулся на честный путь. Теперь Куцина работает в Буштынском лесокомбинате.

Только за последнее время от религии отошло 18 священников. Порвал с церковью и бывший благочинный Александр Бодревич-Буць, выступив с гневным разоблачением. Бодревич-Буць—ныне научный сотрудник Львовского музея этнографии. Недавно в областном издательстве вышла его книга «Атомный век и кризис христианства».

Всю работу по научно-атеистической пропаганде планирует и координирует у нас областной совет атеистов, куда входят представители многих организаций и учреждений.

В последние годы создаются и утверждаются новые обычаи, обряды, идет переосмысливание прогрессивных народных традиций. Мы это новое всячески поддерживаем, помогаем развиваться.

В области уже вошли в быт праздники весны, зимы, урожая, серпа и молота. Многие из них проводятся в дни религиозных праздников и, конечно, привлекают к себе больше участников. Все шире проводятся гражданские поминки воинов, активистов, погибших в борьбе за Советскую власть, уважаемых тружеников города и села. На новой основе возрождаются «вечерниці» — посиделки. Борются против религиозных пережитков печать, радио и телевидение области.

Нам известно, что наши идеологические противники на Западе пытаются опорочить успехи в области культурного строительства и воспитательной работы в западных областях Украины. Некоторые органы буржуазно-националистической, религиозной печати и радио выдумывают или извращают события из нашей жизни и пытаются этими выдуманными ужасами пугать своих читателей и слушателей. Собака лает — ветер носит...

Напрасны их старания. Наши люди им никогда не поверят, так как они не только видят подлинную жизнь, но и сами в ней активно участвуют.

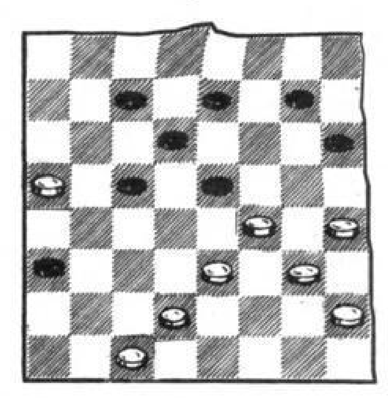
Мы уверены, что все честные, заблудившиеся в бесконечных лабиринтах религиозных верований люди все равно выйдут на светлую дорогу. Что касается черных сил духовной реакции, вышедших из мрака, то они, как сказал Ярослав Галан, во тьму и канут. Закрыть сияние солнца ладонью никому не удастся.

ШАШКИ

Под редакцией мастера Г. Я. ТОРЧИНСКОГО

А. И. ВИНДЕРМАН
(Москва)

Белые начинают и выигрывают



Решение этюда Н. В. Городецкого, напечатанного в № 16 «Огонька». 1. b6—a5 b4—c3 2. a5 : d2 a3 — b2 (на 2... e7 — f6 следует 3. d4 — c5 и 4. d2—c3) 3. f4—g5 h6 : d6 4. d4—e5 d6 : f4 5. d2 : c1 и выигрывают. Если 1. ... e7 — f6, то 2. a5 : d2 a3—b2 (на 2. ... f6—g5 следует 3. d2—e3 a3—b2) не спасает 3... g7 — f6 4. e5 : g7 h6 : f8 5. f4 : h6 a3 — b2 из-за 6. e3 — f4 и т. д. 4. e3 — c1 g5 : c5 5. c1 : f8 и выигрывают.

Как это произошло

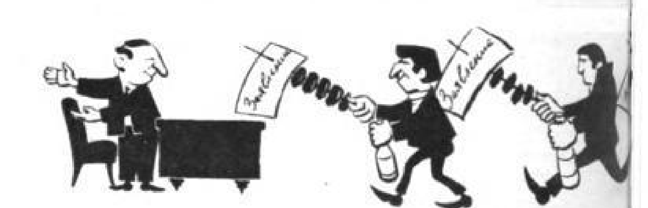
Встретив знакомого, мы пожимаем ему руку. Откуда появилась эта традиция?

В старые времена, когда встречались знакомые, они протягивали один другому правую руку, показывая, что в ней нет оружия. С течением времени это вошло в привычку, и люди стали обмениваться рукопожатием.

А отдание чести? Военные да и многие гражданские лица приветствуют друг друга, прикладывая руку к головному убору. Это тоже старый обычай. Он дошел до нас из средних веков. Рыцари, принимавшие участие в турнирах, выбирали себе даму сердца, в честь которой совершали подвиги. После окончания состязания победители подъезжали к помосту за получением награды. При этом рыцари прикладывали руку ко лбу, как бы заслоняя глаза, чтобы не ослепнуть от красоты избранницы. Такой жест со временем стал считаться знаком уважения, и им стали пользоваться военные.

Седьмая

Фельетон



В анкетах по учету кадров пока отсутствует одна существенная графа, которая и не дает возможности составить о работниках наиболее полное представление. Недостающий вопрос можно было бы сформулировать приблизительно так: «Как вы проводите свободное время, какое увлечение является вашей страстью?»

Одни бы в этой графе с удовольствием рассказывали, что любят ходить на лыжах, собирать книги, бывать на премьерах. Другим бы пришлось сознаться, что на досуге они не прочь помусолить карты, схватиться с соседями.

Без этой графы, повторяем, личность опрашиваемого выглядит несколько односторонне. Раскроем, например, анкету героя этого фельетона, познакомимся с ней.

Фамилия, имя и отчество: Мурахтанов Евгений Сергеевич. Год рождения: 1928. Занимаемая должность: проректор Всесоюзного заочного лесотехнического института (г. Ленинград). Ученая степень: кандидат сельскохозяйственных наук. Ученые труды: двадцать. Общественная работа: избирался председателем месткома, был внештатным заведующим отдела вузов и средних специальных учебных заведений Выборгского района...

Как видим, эти шесть граф рисуют Евгения Сергеевича человеком сугубо положительным и примерным. А вот появись в анкете седьмая — картина бы изменилась. Е. С. Мурахтанов вынужден был бы оставить в ней такую запись: «Люблю ходить по ресторанам, обожаю шашлык по-карски и марочный коньяк. Несмотря на то, что имею приличный оклад, норовлю проехаться на дармовщинку».

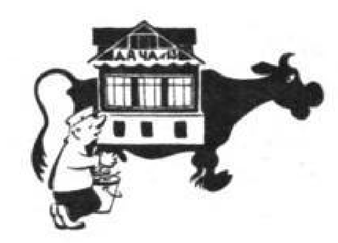
И сразу бы стало ясно, что человек кончит плохо.

Но отложим анкету в сторону и обратимся к живым фактам жизни. Голубым июльским днем в кабинет проректора, тяжело дыша, вбежал пестрый молодой человек, назвал-

КОРОТКО О РАЗНЫХ

В. ПОПОВКИН

ДАЧА ОТ СДАЧИ



Сначала забывал
давать он
сдачи.
Теперь
сдает,
доход сбирая
с дачи!



ОПРАВДАНИЯ ОЧКОВТИРАТЕЛЯ

В изобретательности
очковтиратель был
непритязателен и смел:
— Я без очков был,
проглядел!

СПАСЕНИЕ В ВЕЖЛИВОСТИ



Он верил
искренне
в бездумно-вежливые руки:
— Пожалуйста,
возьмите на поруки!



ПО СЛУЖЕБНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

Он медленно тянулся
в гору,
в гору,
в гору...
И гору взял —
измором!

ВЗЯТКИ НЕ ГЛАДКИ

Он брал спокойно
взятки,
говаривая:
— Взятки гладки!
Об «отношении предвзятом»
кричал,
когда был
взят он...



Рисунки В. Воеводина.



Поединки буйволов и верблюдов

В индийском селе Гутар издавна проводятся своеобразные состязания.

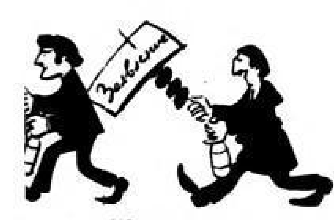
На арену выводят двух буйволов, держа их за канаты, привязанные к ногам животных. Приняв боевую позу, буйволы устремляются друг на друга. Когда один из борющихся падает на передние ноги и не может подняться, наступает конец поединка. Буйволов с помощью канатов и шестов разнимают.

В Индии устраиваются и сражения между верблюдами. Животные бьют друг друга копытами, вздымая на арене облака пыли. Состязание продолжается до тех пор, пока один из противников не обратится в бегство.

Победители подобных боев ценятся в несколько раз дороже, чем обыкновенные верблюды.



рафа



ся Жориком и заключил Евгения Сергеевича в крепкие объятия.

— Кто вы? — воскликнул проректор.

— Потом, потом. А сейчас едем. Коньяк уже подан, карские шашлыки дымятся на жаровне.

Анкета Е. С. Мурахтанова в ее настоящем виде не в силах объяснить, почему проректор, кандидат помчался в ресторан с первым попавшимся Жориком. Этот поступок доступен уразумению лишь с точки зрения новой графы.

В ресторане «Кавказский» Жорик действительно угостил Евгения Сергеевича отличным шашлыком и где-то после пятого тоста сказал, что у него возник вопрос, но настолько пустяковый, что специально задавать его даже неловко. Вопрос таков: можно ли перевестись из московского института сюда?

— Можно,— сказал проректор, вздымая стопку.— Приходи.

Жорик пришел и принес академическую справку. Она удостоверяла, что проситель обучался на шестом курсе Московского лесотехнического института.

Проректор взял документ и увидел явную липу. Шесть анкетных граф дружно проголосовали за то, чтоб этот Жорик был немедленно выставлен за дверь и препровожден в милицию. А седьмая графа тут же наложила вето: в «Астории» вечером Жорик устраивал банкет.

— Ладно,— сказал Евгений Сергеевич,— бог с тобой, учись. Считай, что липы я не заметил.

Банкет в «Астории» получился на славу. Жорик был так рад своему зачислению, что на следующий день повторил кутеж в «Чайке». Потом потащил проректора опять в «Кавказский». А затем заглянул в институт и как бы между прочим сказал Евгению Сергеевичу, что свои деньги у него давно кончились. А пьют они теперь на средства его двух двоюродных братьев — Шамугия Нодари и Шония Вахтанга.

— Братьям надоело учиться в Москве. Им захотелось продолжить образование в Ленинграде.

Проректор задумался. В его душе шесть анкетных граф опять сцепились с седьмой. И снова седьмая взяла верх: вечером намечался небольшой прием в «Астории».

— Пусть переводятся,— сказал Евгений Сергеевич.— Небось, у них тоже липа? Но я ничего не видал. Понятно?

Вскоре в кабинет проректора стучался еще один брат, Шамугия Бубли:

— Я тоже хочу учиться в Ленинграде.

А дальше двоюродный брат вообще пошел косяком. На самолетах и в поездах в Ленинград спешили охочие до знаний жители абхазского городка Гали. Все они показывали липовые академические справки и срочно писали заявления по готовому стандарту: «Прошу перевести меня из Московского лесотехнического института в ВЗЛТИ, так как имею сильное желание...»



Чем вызвано это сильное желание, поступающие не расшифровывали. Проректору было ясно без пояснений. И галийское землячество в Ленинграде благодаря коньячно-шашлычным увлечениям Евгения Сергеевича продолжало угрожающе расти. По вечерам двоюродные братья оскверняли Невский проспект отвратительными выкриками, скандалили в подъездах ресторанов, приставали к девушкам. Возвращаться домой они не торопились. Работать не поступали.

А перед Евгением Сергеевичем открывались новые возможности. Жорик вспомнил, что он как-никак студент выпускного шестого курса и уже давно пора работать над дипломом. Бездельник ничего не знал и не умел. Поэтому писать диплом он нанял своего проректора за шашлык и коньяк. И тот в перерывах между ученым советом и посещением ресторана трудился изо всех сил.

Диплом обещал быть интересным, но кандидат наук так и не успел написать студенческую работу: помешали работники прокуратуры Бауманского района Москвы. Они взяли на себя труд писать, а Евгения Сергеевича попросили рассказывать. И он сообщил много любопытного.

— Да, ряд лиц в институт поступил незаконно,— подтвердил проректор.— Но кто это? Только бездельники и тунеядцы. Для науки никакой опасности они не представляли. Смешно же было подумать, что кто-нибудь из них окончит институт. Их ведь повышибали бы после первой же сессии...

Что же касается щекотливого вопроса о карском шашлыке и марочном коньяке, то рассуждения Евгения Сергеевича сводятся к тому, что этот вопрос надо рассматривать в чисто гастрономическом, но отнюдь не в уголовном аспекте.

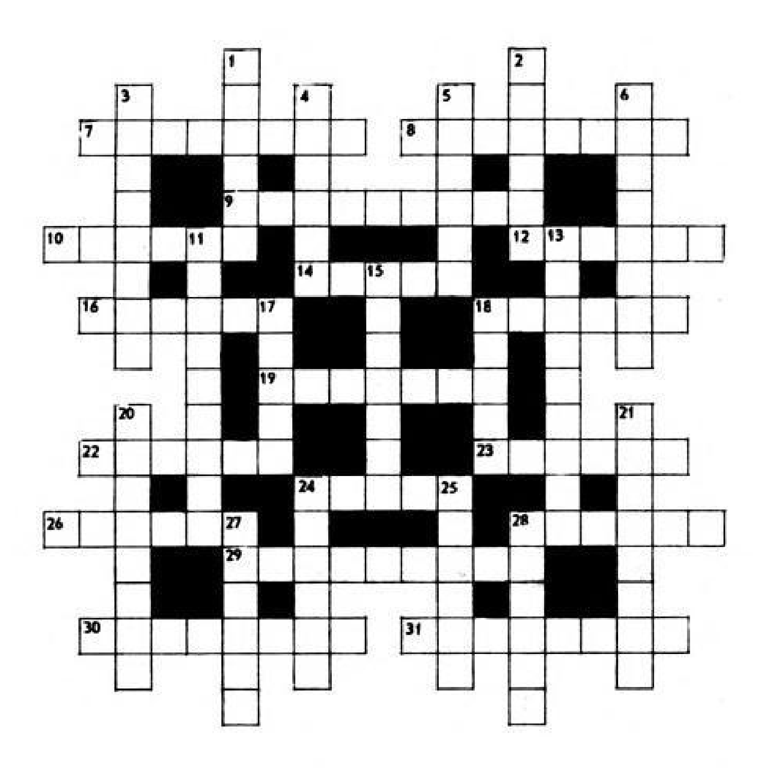
Нам остается теперь лишь познакомить нашего взыскательного гурмана с неизвестными ему анкетными данными Жорика. Фамилия, имя и отчество: Микая Георгий Ермолаевич. Год рождения: 1936. Образование: неоконченное, выгнан с первого курса Московского лесотехнического института. Место работы: указать затрудняется. Адрес: устанавливает милиция. Привлекался ли к суду: да, за хулиганство пришлось отсидеть три года.

Дополнительный вопрос о любимых увлечениях Георгию Ермолаевичу задавать мы не советуем: ответ прозвучал бы слишком нецензурно.

Впрочем, мы теперь думаем, что заводить в анкете дополнительную графу, может быть, и не стоит. Но вот интересоваться, чем увлекаются наши сослуживцы в часы досуга, мы обязаны. Это не праздное любопытство, а наш товарищеский долг. Иначе можно попасть в незавидное положение общественных организаций института, которые ничего не знали о пагубной страсти Е. С. Мурахтанова к карским шашлыкам. До сих пор они продолжают считать его отменным работником и дают о нем самые лестные отзывы.

И. ШАТУНОВСКИЙ





КРОССВОРД

По горизонтали:

7. Областной центр РСФСР. 8. Афинский оратор. 9. Автор оперы «Дубровский». 10. Рыболовная снасть. 12. Искажение произношения. 14. Танец. 16. Состояние атмосферы. 18. Роман Л. Фейхтвангера. 19. Приток Енисея. 22. Порт на севере Италии. 23. Химический элемент. 24. Частица света. 26. Государство в Африке. 28. Разработанный план сооружения, постройки. 29. Шахматный ход. 30. Вид ивы. 31. Чертежная линейка.

По вертикали:

1. Помещение в самолете. 2. Персонаж повести Л. Н. Толстого «Казаки». 3. Звуковой иллюстрированный журнал. 4. Часть песни. 5. Спортивная игра. 6. Зубчатое колесо. 11. Занимательная задача. 13. Водитель сельскохозяйственной машины. 15. Поделочный темно-синий минерал. 17. Цветок. 18. Стихотворная форма. 20. Насыпь вдоль каналов. 21. Танцовщица. 24. Раствор, применяемый в фотографии. 25. Русский живописец-передвижник. 27. Небольшая ария. 28. Единица расстояния в астрономии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 17

По горизонтали:

7. Канберра. 9. Репортаж. 10. Почтамт. 11. Лемнос. 12. Бенуар. 13. Кадриль. 18. «Варабан». 19. Беранже. 20. Комиссаржевская. 23. Шарабан. 24. Пеликан. 28. «Баядера». 30. Плафон. 31. Рапира. 32. «Дачники». 33. Акваланг. 34. Нестеров.

По вертикали:

1. Вассерман. 2. Деймос. 3. Самовар. 4. Брумель. 5. Лорнет. 6. Пассатижи. 8. Литературоведение. 14. Дамодар. 15. Маринад. 16. Секстет. 17. Ванадий. 21. Балалайка. 22. Сатуратор. 25. Кабарга. 26. Крекинг. 27. Король. 29. Валюта.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ.
Редакционная коллегия: М. Н. АЛЕКСЕЕВ (заместитель главного редактора), Г. А. БОРОВИК, И. В. ДОЛГОПОЛОВ, Б. В. ИВАНОВ (заместитель главного редактора), Н. Н. КРУЖКОВ, Л. М. ЛЕРОВ, В. Д. НИКОЛАЕВ (ответственный секретарь), Л. Л. СТЕПАНОВ, Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: Москва, А-15, Бумажный проезд, 14.
Рукописи не возвращаются. Оформление Л. Шумана.

Телефоны отделов редакции: Секретариата — Д 3-38-61; Отделы: Внутренней жизни — Д 3-39-07; Международный — Д 3-36-53; Искусств — Д 3-38-33; Литературы — Д 3-31-83; Информации — Д 3-32-45; Библиографии — Д 3-38-26; Науки и техники — Д 3-38-08; Юмора — Д 3-32-13; Спорта — Д 3-32-67; Фото — Д 3-35-48; Оформления — Д 3-38-44; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 00370 Подписано к печати 21/IV 1964 г.
Формат бум. 70×108 1/8. 2,5 бум. л. — 6,85 печ. л.
Тираж 2 050 000. Изд. № 739. Заказ № 1140.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Сны зверей

«Интересно знать: как спит, например, слон, где устраивают себе ночлег рыбы, птицы, долго ли дремлет орел, видят ли животные сны?» — спрашивает нас читатель Р. Дрожжин из Москвы.

На этот вопрос мы попросили ответить директора Московского зоопарка И. П. Сосновского.

Все звери спят по-разному.

Любопытен сон рыб. С наступлением темноты они опускаются на дно и прячутся для отдыха в зарослях подводной растительности. Некоторые из них во время сна медленно передвигаются, лениво шевеля плавниками. Но есть и такие сони, которые, засыпая, плавают головой вниз или на боку, а то и перевернувшись вверх брюшком.

Не все животные спят на одном и том же месте. Например, шимпанзе ежедневно устраивают себе новое ложе на деревьях. В зоопарке из-за отсутствия веток и листьев им приходится спать на деревянных кроватях. В прохладные ночи они укрываются даже одеялом. Правда, к утру от покрывала остаются порой одни лоскутики. Не прививается городская культура!

Зато слоны спят спокойно и тихо.

Многие водоплавающие и болотные птицы перед тем, как спрятать свою голову под крыло, отплывают от берега. Так надежнее: вода — хорошая преграда от хорька или лисицы.

Бегемоты спят в воде, но, чтобы не захлебнуться, они выбирают небольшую глубину. Туловище они погружают в мягкую илистую перину, а ноздри и глаза остаются снаружи.

Большинство животных спит ночью. Но есть и такие, которые засыпают перед восходом солнца. Филины, совы, сычи, козодои, крыланы проводят день в темных пещерах, в дуплах деревьев, в расщелинах скал.

Посетители зоопарка никогда не могут увидеть полуобезьян — лемуров. Целый день они спят, а как только стемнеет, они тут как тут, но зоопарк уже закрыт. И на воле они вылезают из своих убежищ с наступлением ночи.

Видят ли животные сны?

Пожалуй, на этот вопрос можно ответить утвердительно. Нам часто приходилось наблюдать, как во сне слегка рычит леопард или пума, скулят волки и гиены, нервничает обезьяна.

Сейчас весна, с каждым днем из далеких теплых стран возвращаются к нам многие птицы. А вот где провели зиму ежи, медведи, летучие мыши, черепахи, ящерицы, суслики, змеи? Они спали. Каждый по-своему. Медведь зимовал в берлоге, летучие мыши — в глубоких пещерах. Причем забираются они туда с осени огромными массами по нескольку тысяч и, зацепившись лапками за каменные выступы, корни деревьев, повисают вниз головой до самой весны.

Лягушки зимуют на дне водоемов. Змеи, ящерицы, черепахи с наступлением холодов прячутся в глубокие норы, в трещины почвы, под корни старых деревьев и там терпеливо ожидают весны.

Степные черепахи, обитающие в пустынях Средней Азии, когда палящие лучи солнца выжигают растительность и есть становится нечего, заползают в глубокие норы. В общей сложности эти черепахи спят в году 7—8 месяцев.

В тропических странах в жаркое время засыпают и некоторые рыбы. Они роют глубокие норы и, свернувшись там калачиком, ожидают дождей.

Жемчужина целины



...Раннее утро. Небо голубеет, и лишь на горизонте видна розовая полоска восходящего солнца. Но вот от зари отделилось небольшое пламя, похожее на сказочный корабль. Это летят стаи фламинго — экзотических птиц с розовым оперением. Они направляются в Целинный край — на Кургальджинские озера.

Здесь гнездятся десятки тысяч фламинго, многие виды уток, гусей, лебедей, куликов. Среди них кроншнеп (вы видите его на последней странице обложки). Неумолкаемый гомон птиц сливается с рокотом тракторов Целинного края.

Естественный птичий заповедник охраняется работниками Государственного охотничьего хозяйства. Лишь туристы, фото- и кинолюбители — желанные гости здесь. Приезжают они на Кургальджинские озера из различных мест нашей страны и даже из-за рубежа. В этот уголок жемчужины целины влечет их страстное сердце охотника, чтобы «выстрелить» из своего фоторужья по крылатому зареву птиц.

Д. НОСОВ

Фото автора.

На первой странице обложки: Первые байдарки на Волге.

Фото Дм. Бальтерманца.

ПЕСЕННОЕ ТРИО

Это музыкальное трио знакомо и москвичам и жителям тех северных городов, у которых еще нет названия, — так они молоды. Это трио слушали в рыбацких поселках Заполярья и на дворе пограничной заставы, в двух шагах от нашей южной границы.

Две певицы и баянист... Широко распахнув мехи баяна, начинает концерт композитор, неутомимый искатель и собиратель песенных народных жемчужин, Александр Петрович Аверкин. Наверное, и вы, читатель, певали и поете песню «На побывку едет молодой моряк» либо «Милая мама»? Их написал Александр Аверкин, в недалеком прошлом запевала солдатской самодеятельности, сейчас профессиональный музыкант. Три сотни песен, сборники образцов народного песнетворчества, оперетта «Печорские зори», идущая в Сыктывкаре, — все это можно назвать лишь началом, потому что композитор молод: ему нет еще и тридцати лет.

Для обеих певиц искусство — вторая профессия. Нина Ульянова — лаборантка, Любовь Александрова — табельщица московского завода «Динамо». На концерты их отпускают без задержки. Знают, что Нину и Любу всюду ждут с нетерпением, любя их молодое песенное искусство. Они нигде и никогда не учились музыке, поют по слуху. Но их природная одаренность и тонкое чувство гармонии придают исполнению глубину, народность.

М. АЛЕКСАНДРОВ



— Предупреждал, не крути солнце.

Рисунок В. Грунина.



— Хожу слоном.

Рисунок И. Сычева.



Мне березка дарила сережки

Слова
В. ХАРИТОНОВА.

Музыка
А. АВЕРКИНА.

Мне березка дарила сережки
И рябина дарила цветы.
И тропинкой ко мне и дорожкой
Приходил на свидание ты.

На мою красоту нагляделся,
Добротой мое сердце обжег.
И когда вдруг закат заалелся,
Мою песню унес за порог.

Вот и ходит та песня, вздыхая,
На губах застывает твоих.
Ах, любовь ты, любовь молодая,
Ты навек рождена для двоих.



*) Подголосок для последнего куплета.



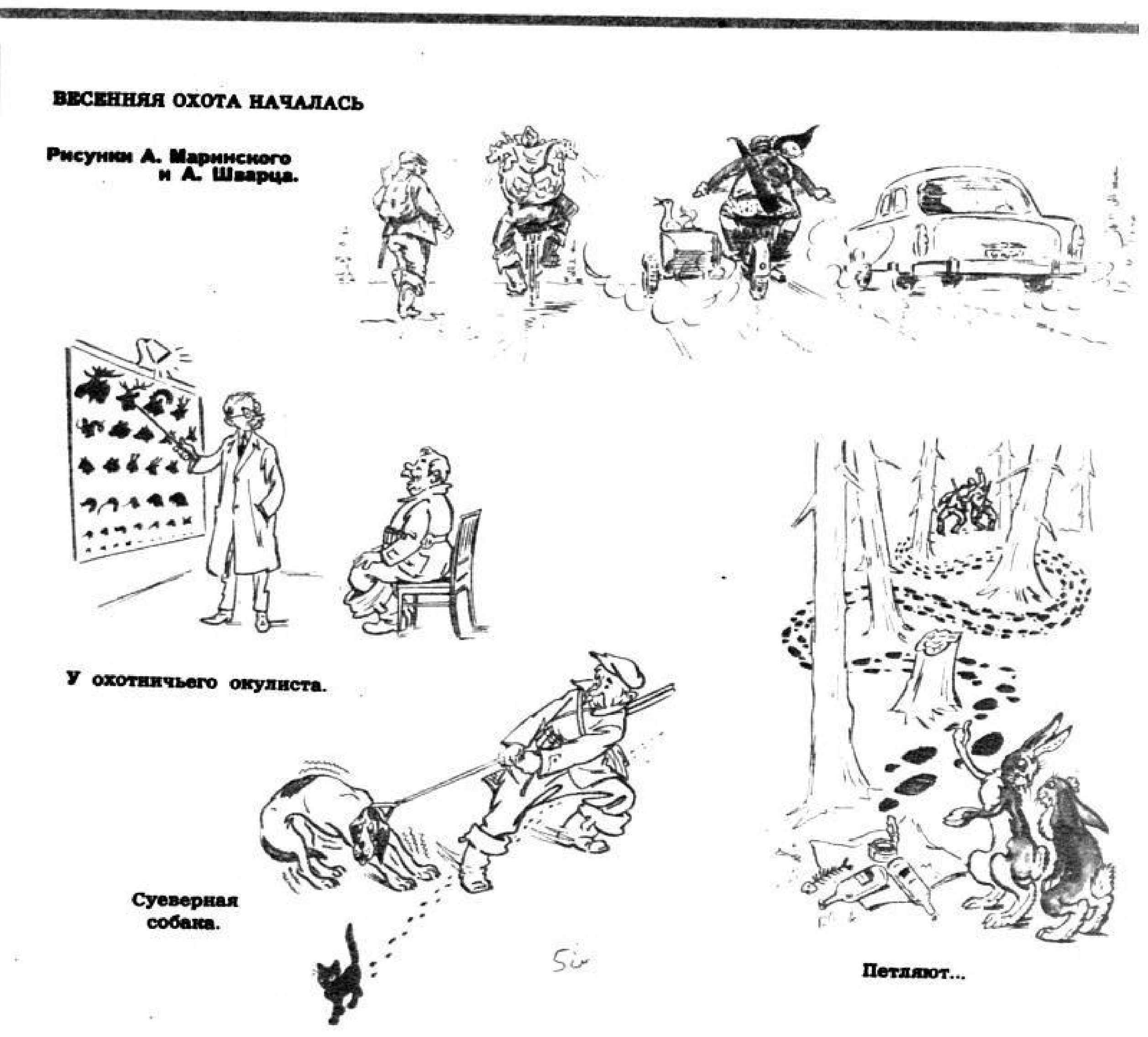
Без слов.
Рисунок А. Грунина.

— Ну, вспомнили, маэстро, что дальше?!.
Рисунок И. Сычева.



ВЕСЕННЯЯ ОХОТА НАЧАЛАСЬ

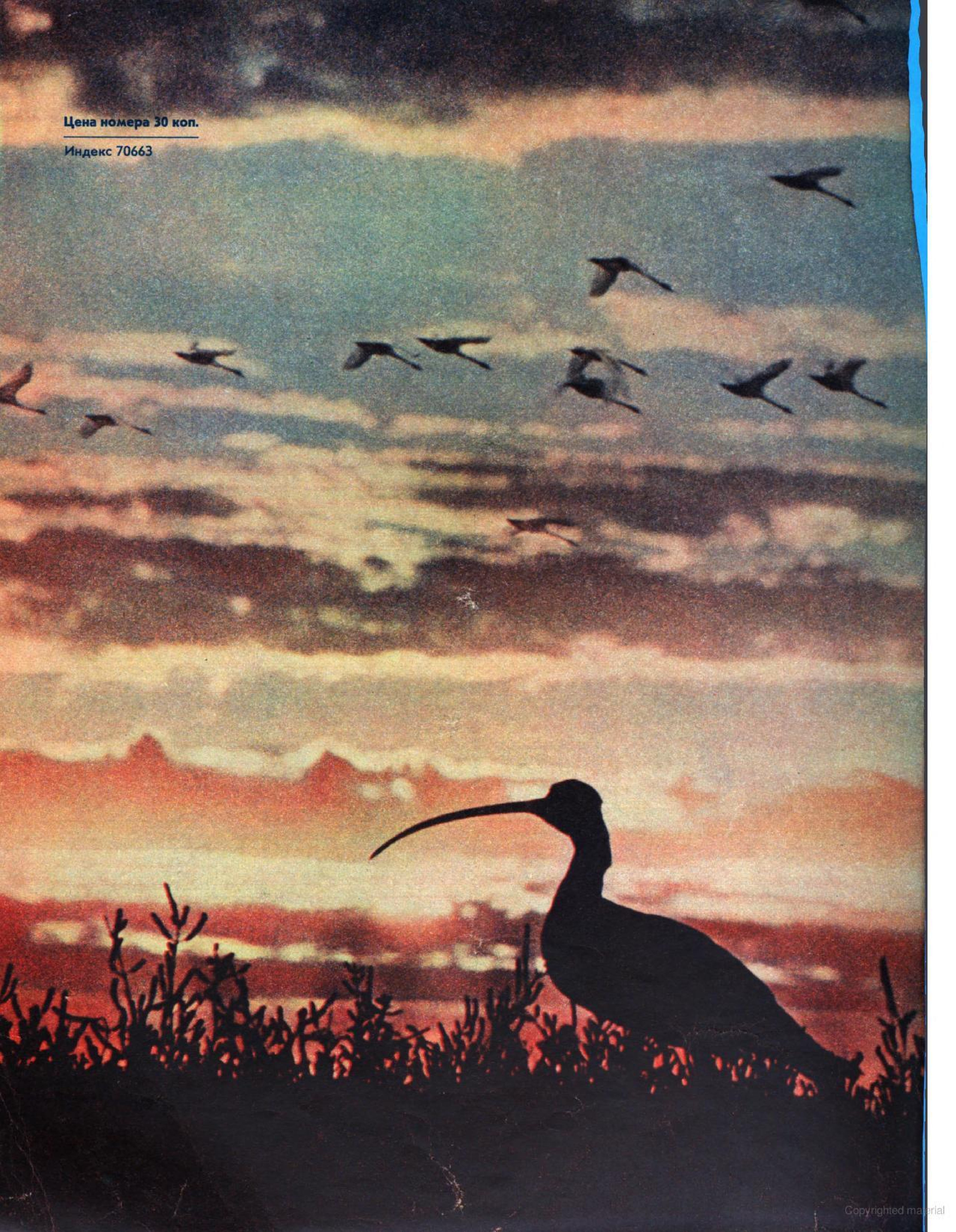
Рисунки А. Маринского и А. Шварца.



У охотничьего окулиста.

Суеверная собака.

Петляют...


Цена номера 30 коп.
Индекс 70663